

Н. Эйдельман

Карамзин
есть
первый
наш
историк
и



ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Своею
критикой
он
принадлежит
истории: простодушием
и
апофегмами
хронике
А.С. Пушкин



1897. 334
hakun. 208

~~208~~
Cary, 1897

208

Under the name
of Liberty, 1897
4 1/2 ft
2 1/2 ft

1897. 117.

Chicago

1897. 117.
208



Н. Эйдельман

**ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕТОПИСЕЦ**



**Москва
„Книга“
1983**

84(2)/
Э 30

Рецензенты — кандидат филологических наук
В. П. Степанов,
кандидат филологических наук
Н. Д. Кочеткова

Э 4702010200-072 70-83
002(01)-83

© Издательство «Книга», 1983



Н. М. Карамзин



И. И. Дмитриев



Е. А. Карамзина



Г. Р. Державин



В. А. Жуковский



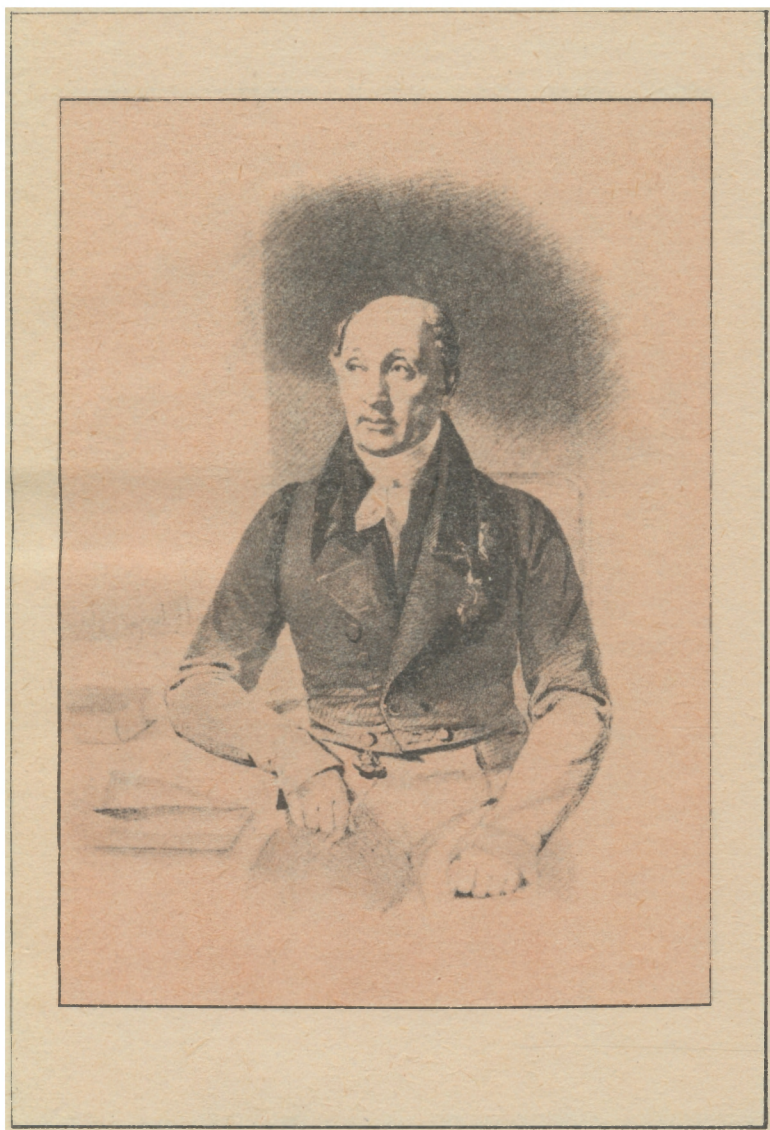
М. Н. Муравьев



А. И. Тургенев



Александр I



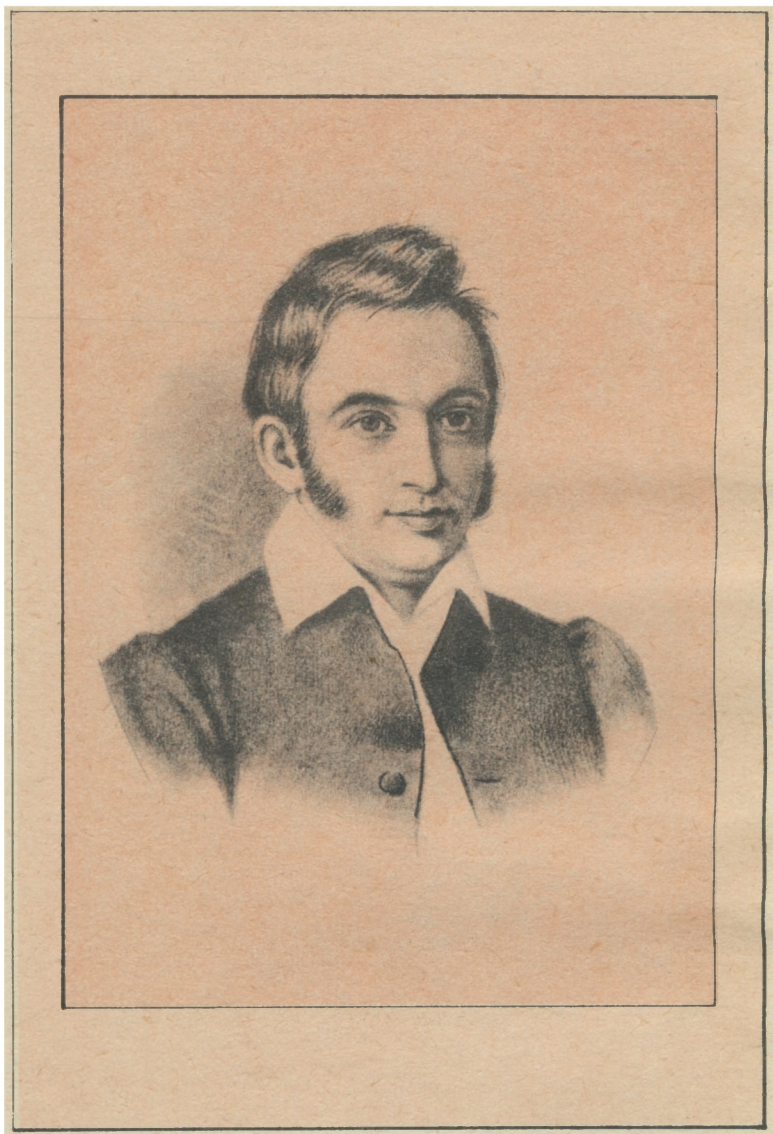
М. М. Сперанский



А. С. Пушкин



А. А. Аракчеев



Н. М. Муравьев



Архимандрит Фотий



П. А. Вяземский



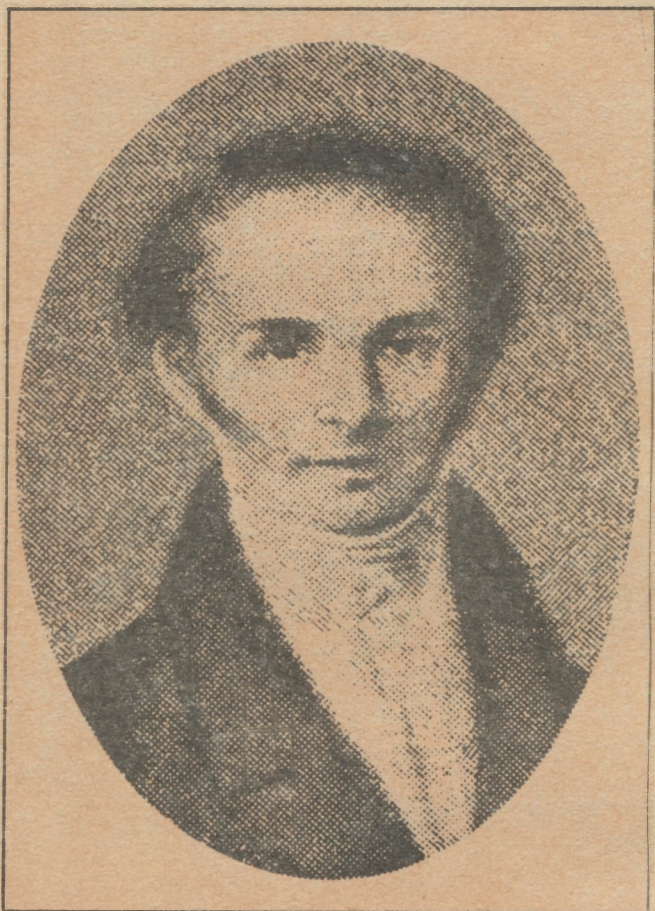
Ф. В. Булгарин



А. Ф. Малиновский



Н. И. Греч



К. Ф. Калайдович

ИСТОРІЯ
ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

ТОМЪ I.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Изданіе мѣ братьевъ Слениныхъ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ШИПОГРАФИИ Н. ГРЕЧА.
1818.

Титульный листъ первого тома



Памятник Карамзину в Симбирске (Ульяновске)



Г
Карамзин
есть

ПЕРВЫЙ наш ИСТОРИК

и
последний
летописец

А. С. Пушкин

1803-й год отмечен в русской культуре исключительным событием: Николай Михайлович Карамзин, один из первых литераторов (а по мнению многих — первейший, рядом с Державиным), известный автор «Писем русского путешественника» и еще более известный автор «Бедной Лизы», издатель лучшего в ту пору журнала «Вестник Европы» — тридцатисемилетний Карамзин решительно оставляет прозу, поэзию, журналистику и записывается в *историки*.

Бывало, что по своей воле отрекались от престола монархи — принимались сажать капусту, запирались в монастырь. Однако мы не можем припомнить другого примера, чтобы знаменитый художник на высоте



славы, силы и успеха подвергал себя добровольному заточению — пусть даже в храме науки, монастыре истории...

Карамзин меняет, ломает биографию именно в том возрасте, в каком позже погибнет Пушкин.

Мы же сейчас обратимся к его *первой* жизни лишь для того, чтобы легче понять *вторую**.

* Автор выражает признательность В. Э. Вацуру и В. П. Степанову за помощь и ценные советы, без которых эта работа не могла бы появиться.



1766—1803

Карамзин точно знал, что родился в Симбирской провинции (будущей губернии), в деревне Карамзинке (Знаменское тож) *первого декабря*; но он не знал года рождения: почти всю жизнь был убежден, что — в 1765-м (и поэтому восклицал в 1790-м: «Мне скоро минет двадцать пять», а в 1800-м: «Мне уже 35»). Лишь к старости историк государства Российского уточнит и собственную историю: надежные документы заста-

вили помолодеть на год и отныне начинать биографию с 1 декабря 1766 года.

При записи в службу дворянским детям постоянно прибавляли или убавляли возраст, да и вообще куда меньше, чем в XIX и XX столетиях, интересовались точным временем.

Какая разница, в конце концов, 1765-й или 1766-й?

Каракозовы, Карамзины (может, и Карамазовы) — характерные симбирские, волжские фамилии с плохо спрятанной восточной «чернотой» (кара...).

Некий Семен Карамзин числился в дворянах при Иване Грозном (может быть, за опричные заслуги), три его сына уже владеют землями на Волге; один из пра-пра-пра-правнуков — отставной капитан Михаил Егорович Карамзин.

Мать будущего писателя умерла рано, отставной капитан женился во второй раз на тетке Ивана Ивановича Дмитриева, и две будущие знаменитости породнились да еще и подружились. У отца от двух браков — шестеро детей. Николая сначала учат дома, затем — Московский пансион; с 15 лет в Петербурге, в Преображенском полку, откуда выходит в отставку поручиком, имея от роду 17 лет.

17-летний отставной поручик живет все больше в Москве жизнью, по существу, «разночинской», трудовой; 23-летним отправляется в заграничное странствие, возвращается с «Письмами русского путешественника», затем сентиментальные повести, поэтические сборники, слава...

Вот — канва. Имеются, конечно, и подробности, но немного. Совсем немного!

П. А. Вяземский, десятилетия спустя, уж после смерти Карамзина, умоляет И. И. Дмитриева, чтобы тот как можно больше *вспомнил*: «Если этого не сделать, то [жизнь Карамзина] пропадет без следов».

Мы часто жалуемся, что ничего почти не знаем о тех или иных обстоятельствах жизни Пушкина, Лермонтова, Герцена: куда там! Люди XIX века, по сравнению с их отцами и дедами, на виду; сколько документов все-таки сохранилось, сколько писем написано, сколько мемуаров напечатано! XVIII же столетие во много раз молчаливее. Как мало, например, в биографиях Державина, Радищева, Фонвизина живых рассказов, преданий, легенд, вроде встречи маленького Пушкина с императором Павлом, который «велел снять картуз и пожурил няньку», вроде лицейских шуток, журналов, вроде южных, михайловских анекдотов, поэтических черновиков, дневников, записок, без которых мы просто представить не можем пушкинского жизнеописания...

Можно сказать, что в пушкинском смысле первых глав карамзинской биографии как бы и нет совсем.

Биографии нет и архива почти нет. Писем родственных, сочинений детских, безделок юношеских не сохранилось совсем.

Симбирская глушь, да еще середина XVIII века: юго-восточный край империи, начало великих пугачевских степей, мир замшелых душевладельцев (гоголевские Иван Иванович и Иван Никифорович вдвое

ближе к Европе). Но именно оттуда является умный, образованный мальчик, незаметно (по крайней мере для нас!) овладевший французским, немецким, разумеется, церковнославянским, а в более зрелые годы еще латинским, греческим, итальянским, польским (попутно заметим, что и Державин, Радищев родом с той же «волжской окраины»)...

Из прошлого являются как бы случайно оброненные мелочи, по которым нам приходится угадывать *сокрытое*...

32-летний Карамзин вдруг вспоминает в письме к брату «заволжские метели и вьюги».

Незадолго до смерти признается другу-земляку Дмитриеву, что воображением перенесся «на берег Волги, Симбирский Венец, где мы с тобою, геройски отражая сон, ночью читали Юнга в ожидании солнца. <...> Даже стихи Сумарокова к домику Петра Великого показались мне отменно гармоничными и приятными в воспоминаниях юности. <...> Не забыл я нашего славного *Белого Ключа*, ни 100-летнего Елисея Кашинцова, звонившего в колокола, когда Симбирск праздновал Полтавскую победу, и бывшего гребцом на лодке Петра Великого, когда он плыл в Астрахань, начиная войну Персидскую».

Природа, будто предвосхищающая пейзажи «Капитанской дочки»; книги, что потом милы всю жизнь одним их присутствием в детстве. Пушкин вспомнит, как внимал рассказам няни:

..... затверженным
Сыздетства мной — но все приятных сердцу,
Как песни давние или страницы
Любимой старой книги, в коих знаем,
Какое слово где стоит.

Наконец, соседство той истории, которая покажется потом столь далекой. 100-летний (то есть 1670-х гг. рождения) гребец, сидевший в одной лодке с Петром Великим! Пушкину, кажется, последнему удастся отыскать «общего знакомого» с первым императором (135-летнего казака Искру) — затем все это умчится в *позапрошломое*...

Однако даже спутник всей жизни Карамзина, старший шестью годами, Иван Дмитриев не брался объяснить необыкновенно быстрых перемен в своем кузене, недавнем мальчишке «в шелковом перувиановом камзолычке... с русской нянюшкой»; несколько же лет спустя, когда они встречаются в Петербурге, «это был уже не тот юнец, который читал без разбора, пленялся славой воина, мечтал быть завоевателем чернобровой, пылкой черкешенки, — но благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершенствованию в себе человека!»

17-летний поручик (у которого, по его словам, не нашлось денег для взятки, чтобы отправиться в действующую армию) — и *вдруг* (очень характерная для биографии этого человека внезапность!) — не проходит и года-другого, а он уж литератор, переводчик, член масонской ложи, переписывается с европейски известным швейцарским мыслителем Лафатером.

Дмитриев — свидетель и робкого литературного дебюта: «Разговор австрийской Марии-Терезии с нашей императрицей Елисаветой в Елисейских полях, переложенный им с немецкого языка. Я советовал ему показать книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы,

плата за них книгами из своей книжной лавки... Не могу и теперь вспомнить без удивления, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика Фильдингова „Томаса-Ионесса“: [Тома Джонса] — в маленьком формате. <...> Это было первое вознаграждение за словесные труды его».

Очень скоро, однако, Карамзин уже переводит Шекспира, Камознса, печатает собственные стихи, каждую неделю «выдает печатный лист» в «Детское чтение для сердца и разума», издание, на котором в конце позапрошлого столетия воспитывалось целое просвещенное поколение.

Книга за книгой, оплата грошовая, автору нет и двадцати.

Акселерация, о которой столько писано в наши дни: но кто же тогда 17—20-летние офицеры, литераторы, 25-летние генералы или (на другом общественном полюсе) 16—18-летние крестьянские отцы и матери семейства? «Пик способностей», который, как выяснила современная наука, относится к 12—14 годам, был, выходит, максимально близок к «пику социальному», что имело последствия разнообразные, но преимущественно благие...

Впрочем, без матери, без отца, занятого большой семьей, именем, без особых средств к существованию легко было, кажется, загулять или духом пасть, сбиться с пути... Соблазны! А симбирский мальчик не ангел: «...литература наша не была выгодным промыслом. <...> В молодости, в течение двух-трех лет прибегал он, как к пособию, к карточной коммерческой игре».

К друзьям ходили слухи, будто молодой Карамзин «прыгает серною с кирасирскими офицерами» (позже будет в числе «старшин» московского танцкласса). Одно из писем к Дмитриеву обрывается на словах: «Бьет 11 часов; пора ехать ужинать»; Николай Михайлович хочет обменяться с братом Василием дворовыми, ибо «купить хорошего повара никак нельзя; продают одних несносных, пьяниц и воров»; и, хотя в другой раз писатель посылает отпускную дворовому человеку Александру (прежде предполагалось это сделать после смерти владельца, но — «Я не хочу, чтобы он ждал конца моей жизни»), при всем при том манит жребий светского человека, игрока...

Не сбылось.

Случайность... Однако восточная мудрость гласит, что каждый человек встречает на свете тех, которых должен был встретить: разнообразие характеров и типов на земле столь велико, что есть возможность встретить любого, но уж *выбрать* по себе: вору — вора, труженику — труженика...

Если же некто жалуется, что жизнь не наградила его добрыми встречаемыми, не верьте, не верьте! Скорее всего, сам он плох: оттого и не наградила...

Карамзин встретил, выбрал Дмитриева, Петрова, Новикова, Тургеневых, и они, конечно, его выбрали. Видно, сработал «добрый заряд»: домашний, пансионный, полковой...

Те качества, которые у Пушкина так ясно (или, по крайней мере, нам кажется, что ясно) выявились в Лицее, — для Карамзина мы, наоборот, должны угадывать через *результат*, обратным движением от его поздних известных лет к ранним, едва различимым.

Хорошо бы написать историю дружбы в России. То была бы, разумеется, книга с примерами из двенадцати столетий: дружба военная, общинная, монастырская, дружба в беде, счастья, странствиях, мечтаниях, дружба в труде, в семье... До XIX века, правда, совсем почти не нашлось бы места для столь привычной нам дружбы школьной, по той причине, что большинство вообще не училось, а дворян чаще обучали дома. У Карамзина были прекрасные друзья, но, кроме неизменного Дмитриева, мы почти не видим их до его перехода из Преображенского полка в русскую литературу. Зато с 1784-го они при нем, он при них.

В Москве «работа, ученье, плоды праздных и веселых часов какового-нибудь веселого немца, собственная фантазия, добрый приятель... и все эти противоскучия можно найти, не выходя за ворота».

Это пишет 18-летнему Карамзину Александр Петров, один из важнейших в карамзинской жизни *встречных*, тот, с кем начинал писать, с кем мечтал о новом, свободном русском литературном языке, но кого вскоре оплакал и всю жизнь считал себя в долгу «перед своим Агатоном, которого душа была бы украшением самой Греции, отечества Сократов и Платонов».

Иван Петрович Тургенев, директор Московского университета, заметил молодого Карамзина по «масонским отношениям» и «отговорил от рассеянной светской жизни и карт».

Сколь же много скрыто за этой фразой (из записок Дмитриева): *отговорил...* то есть переменял направление жизни. Но можно ли переубедить молодца, если тот сам себя прежде не убеждал? Главное событие, может быть, определившее все дальнейшее, выходит, почти не отразилось в письмах, документах: памятью о нем осталась дружба, любовь к Карамзину четырех сыновей Ивана Петровича — *братьев Тургеневых*, столь заметных в пушкинскую, декабристскую эпоху.

Старший, каждую неделю ожидавший карамзинского «Детского чтения», Андрей Тургенев — одна из замечательных личностей конца столетия, если бы не смерть на 22-м году жизни, наверное, вышел бы в первые российские имена; второй брат, Александр Тургенев — тот, кто позже отвезет Пушкина в Лицей и проводит в последний путь к Святым горам; его имя часто будет являться на страницах нашего рассказа, так же, как имена двух младших — Сергея и особенно Николая, «хромого Тургенева», будущего известного декабриста и одного из тех, кто столь же много спорил с Карамзиным, сколь уважал его...

Наконец, литературно-философское *Дружеское общество* (название говорит само за себя: наука и словесность неотделимы от дружества, нравственности, «внутреннего просвещения»). Здесь признанным лидером был славный Николай Иванович Новиков, зажигавший «молодых любителей» огнем просветительства и духовного обновления, «мистической мудрости». Племянник И. И. Дмитриева, очевидно со слов дяди, запишет, что в конце концов «Карамзин оставил общество Новикова, не найдя той цели, что искал».

И снова — одна строка вместо целой важной биографической главы. Да, Карамзин приходил в дом Новикова, что на углу Лубянки и Мясницкой. Приходил *за целью*; то есть сам искал ее. И не согласился с их целью, но укрепился в уверенности, что цель должна быть. Он своим путем пошел,

и они огорчатся, конечно, а следовало бы им радоваться: молодой литератор испытал себя — и благодаря тому, что к ним зашел, и оттого, что вышел. Он всегда будет ценить возвышенное, духовное просвещение, но избежит масонско-мистического тумана и сохранит свой ясный, здоровый, чуть иронический взгляд для лучших дел жизни.

Хотел писать я много
О том, как человеку
Себя счастливым сделать
И мудрым быть в сей жизни.
Но ах! Мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что дух сих философов
Во мне не обитает;
Что я того не знаю,
О чем писать намерен, —
Вздыхнув, перо я бросил.

«Отъезжает за границу поручик Николай Карамзин» («Московские ведомости», 25.IV. 1789 г.).

«Простите! Будьте здоровы, спокойны и воображайте себе странствующего друга вашего рыцарем веселого образа!»

Рига — Кенигсберг — Берлин — Дрезден — Веймар — Швейцария — Париж — Лондон — Петербург.

На время путешествия «я лишил себя ужина и на эти деньги (за границею книги дешевые) накупил множество книг. Таким образом, я чувствовал себя здоровее и возвратился домой с библиотекою».

Из «Писем русского путешественника»:

«Признаться, сердце мое не может одобрить тона, в котором господа берлинцы пишут. Где искать терпимости, если самые философы, самые просветители — а они так себя называют — оказывают столько ненависти к тем, которые думают не так, как они? Тот есть для меня истинный Философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и несогласных с его образом мыслей. Должно показывать заблуждения разума человеческого с благородным жаром, но без злобы».

«Угодно ли вам видеть кишки св. Бонифация, которые хранятся в церкви св. Иоанна, — спросил у меня с важным видом наемный слуга. — Нет, друг мой! — отвечал я, — хотя св. Бонифаций был добрый человек и обратил в христианство баварцев, однако же кишки его не имеют для меня никакой прелести».

«Везде в Эльзасе приметно волнение. Целые деревни вооружаются, и поселяне пришивают кокарды к шляпам. Почтмейстеры, постиллионы, бабы говорят о революции. <...> За ужином у нас был превеликой спор между офицерами о том, что делать в нынешних обстоятельствах честному человеку, французу и офицеру? Положить руку на эфес, говорили одни, и быть в готовности защищать правую сторону. Взять абшид*, говорили другие. Пить пиво и над всем смеяться, сказал пожилой капитан, опорожнив свою бутылку».

«Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностию! Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как

* Отпуск (нем.).

беспечный гражданин вселенной; смотрел на твоё волнение с тихой душой, как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море. Ни якобинцы, ни аристократы твои не сделали мне никакого зла; я слышал споры и не спорил; ходил в великолепные храмы твои наслаждаться глазами и слухом».

«Девятый-надесять век! сколько в тебе откроется такого, что теперь считается тайною!»

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...

Карамзин блажен; Европа 1789/90 — жерло великого вулкана, пламени которого станет на все XIX столетие. Год, как взята Бастилия, и еще осталось два года Людовику XVI.

И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли...

Но Максимилиан Робеспьер пока еще сравнительно незаметный депутат Национального собрания от города Арраса, а Наполеон Бонапарт — всего лишь артиллерийский лейтенант...

Нет! Нам сегодня, привыкшим к революционному гулу во всем мире, все же нелегко понять, что 1789—1793 были первым *вселенским* переворотом после более чем тысячелетней феодальной тишины (нидерландская, английская революции были замечены в десятки раз меньше: мир в XVI—XVII веке был куда более разьединенным, да и не дозрел еще, чтоб *заметить*...).

Кажется, наступает конец «главнейшим бедствиям человечества»: Карамзин пишет, что люди вот-вот «уверятся в изящности законов чистого разума».

Минуты роковые...

Возвращение на корабле из Лондона в Петербург в июле 1790-го.

В столице доброе знакомство с Державиным, который обещает литературную поддержку. А затем карамзинское путешествие из первой столицы во вторую, о котором не стоило бы и вспоминать (кто не приезжал из Петербурга в Москву и обратно), если бы не два обстоятельства.

Этим летом, 30 июня, за свое *Путешествие* арестован Радищев. Второе же обстоятельство — частное: в следующий раз Карамзин окажется на Неве «жизнь спустя», через 26 лет.

Вот как ездили и расставались в ту пору.

Карамзин торопится в Москву, любезную Москву!

СЛАВА

Вспоминают современники: «Карамзин был красив собою и весьма любезен; по возвращении из чужих краев он напускал на себя немецкий педантизм, много курил, говорил обо всем, любил засиживаться далеко за полночь, беседовать, слушать рассказы, хорошо поесть и всласть попить чаю... занимал крошечную комнатку во флигеле: там груды книг...» (Д. П. Рунич).

«Он роста высокого. На его лице написано нечто такое, что привлекает к нему всякого человека. Он говорит много, но приятно, разумно» (В. А. Поленов).

1791 и 1792: два года Карамзин издает «Московский журнал», где публикуются лучшие авторы. — Державин, Дмитриев, Херасков, более же всего сам издатель. Главный, самый сенсационный материал — из номера в номер — «Письма русского путешественника»: Карамзин доволен и числом подписчиков («пренумерантов»), очевидно достаточным, чтобы свести концы с концами, — 210 человек!

1792 — «Бедная Лиза».

1794 — повесть «Остров Борнгольм».

В следующие годы — несколько очень популярных («наподхват», как тогда говорили) поэтических альманахов: «Аониды», «Аглая» (где опять же сам Карамзин, Державин, Дмитриев, другие...).

Федор Глинка: «Из 1200 кадет редкий не повторял наизусть какую-нибудь страницу из „Острова Борнгольма“».

В дворянских списках разом появляется множество *Эрастов* — имя прежде нечастое.

Ходят слухи об удачных и неудачных самоубийствах в духе *Бедной Лизы*.

Ядовитый мемуарист Вигель припоминает, что важные московские вельможи уж начали обходиться «почти как с равным с тридцатилетним отставным поручиком».

Наконец, еще признак массового признания: дурные вирши, сочиненные неким поклонником из Конотопа —

Херасков, Карамзын [так!], Державин
Прекрасны поэты и творцы,
Достойны обще громкой славы
Высоки россов мудрецы.

Слава — и немалая. 210 пренумерантов в 1791 году могут обозначать большую популярность среди грамотного населения, чем стотысячный тираж в конце XIX столетия.

Читали и славили «Письма русского путешественника», «Бедную Лизу» как раз те немногие, кто «делал погоду» в просвещении: студенты, молодые офицеры, чиновники, архивные юноши, вроде самого Карамзина лет 10—20 назад, только теперь юноши назывались Тургеневыми, Жуковским или как-то иначе. *Мыслящее меньшинство...*

ЦЕНА СЛАВЫ

От успехов дохода почти не было — переиздания дополнительно не оплачивались, приходилось постоянно подрабатывать переводами. Слава худо превращалась в золото, но платить за славу пришлось сразу же: «Боги ничего не дают даром». Когда друг Дмитриев, петербургский офицер, пишет о желании выйти в отставку и заняться словесностью, Карамзин объясняет: «Русские литераторы ходят по миру с сумою и клюкою, худа нажива с нею».

К тому же поругивают *старика*, привыкшие к более сдержанному, классическому писательству, нежели у раскованного, сентиментального, «разговорного» Карамзина. Даже Державин однажды упрекает за упоминание в печати о дружбе с «замужней дамой»: речь шла о доброй приятельнице, много старше Карамзина, Настасье Плещеевой, которой посвящались невинные стихи, но таков век — и чего удивляться тогда, если бабушки и дедушки ахают: «При этом упадке нравственности остается уж ожидать только того, чтобы писатели называли своих героев еще и *по отчеству*! Вот увидите, говорим мы, назовут! Право, назовут и по отчеству!»

Очень неприлично, оказывается, написать: *Петрович, Михалыч*.

Впрочем, главные хулы «стародумов» еще впереди...

Обиделись и некоторые друзья, особенно из круга Новикова (А. М. Кутузов, И. В. Лопухин, Н. И. Трубецкой). Люди примечательные и во многих отношениях почтенные — вот что они говорили и писали:

«Молодой человек, сняв узду, намерен рыскают на поле пустыя славы. Сие больно мне».

«Не мог дочитать... Дерзновенный дурак... Одержим горячкою... Быв еще почти ребенок, он дерзнул предложить свои сочинения публике».

«Он называет себя первым русским писателем, он хочет научить нас нашему родному языку, которого мы не слышали...»

И наконец, очень злое: «Карамзину хочется непременно сделаться писателем, так же как князю Прозоровскому истребить мартинистов: но, думаю, оба равный будут иметь успех».

Московский генерал-губернатор Прозоровский преследует «мартинистов», сторонников Новикова, а они «Карамзина-отступника» чуть ли не сравнивают, сближают со своим гонителем. Правда, в числе ругательных оборотов насчет «русского путешественника» мелькает и один, уж очень красноречивый: спрашивая А. И. Плещеева, что же стряслось с Карамзиным, отчего он вышел из масонско-мистического круга, А. М. Кутузов удивляется: «Может быть, и в нем произошла французская революция?»

Сравнение мы запомним — пока же только заметим, что французскую революцию и генерал-губернатор и царица ненавидят люто; подозревают же ее как раз у Новикова, его друзей.

А также у Карамзина.

Буквально в те дни, когда Карамзин подплывал к Кронштадту, почт-директор Иван Борисович Пестель вскрывает и читает письма Плещеевых к А. М. Кутузову и Карамзину.

Почт-директор три года спустя родит сына — знаменитого декабриста, а еще через 26 лет будет с Карамзиным обедать; однако это другие времена, другие песни. Пока же за старую дружбу с мартинистами Карамзин «попадает под колпак», многого не зная, о многом догадывается (и не оттого ли вовсе не стремится сохранить свой архив для потомков?).

Весной 1792-го Новикова и нескольких друзей арестовывают, других (в том числе Ивана Петровича Тургенева) высылают. «Состояние друзей моих очень горестно», — сообщается Дмитриеву. В Петербурге распространяются слухи, будто и Карамзин из Москвы удален, на допросах в Тайной экспедиции крепко спрашивают об издателе «Московского жур-

нала» тех самых друзей-критиков, которые недавно сердились на «молодого человека, снявшего узду»; спрашивают, между прочим, о том, не Новиков ли с «особенным заданием» посылал «русского путешественника» за границу? Новиковцы были людьми высокой порядочности и, разумеется, Карамзина выгородили: нет, он пустился в вояж даже вопреки их советам...

Гроза отступила — подозрения остались. Возможно, из-за этого «Московский журнал» не был продолжен в 1793-м.

Правительственная критика была уже третьей по счету... Но и «староверы», и мартинисты, и тайная полиция не могут переделать молодого писателя. Он мыслит, пишет, печатает, притом не отказывает себе и в некоторых легкомысленных развлечениях.

Плата за славу как будто не превышает «обыкновенной». Куда страшнее другое!

ПОД ЧЕРНЫМИ ОБЛАКАМИ

Парижане торжественно сжигают «дерево феодализма».

Собор Парижской богородицы превращен в «Храм разума».

Королевский дворец взят штурмом; 22 сентября 1792 года объявлено первым днем первого года новой эры.

Большинством в один голос Конвент приговаривает Людовика XVI к смерти.

На развалинах города, восставшего против революции, якобинцы велят воздвигнуть памятник — «Лион боролся против свободы — нет больше Лиона».

Почти все страны Европы объявляют Франции войну, но 14 революционных армий побеждают повсюду и занимают одну страну за другой.

В России Николай Раевский, будущий знаменитый генерал, учится переплетному делу, чтобы прокормиться после окончательной победы санкюлотов. Безбородко обучает своего сына слесарному или столярному ремеслу, «чтобы, когда его крепостные скажут ему, что они его больше не хотят знать, а что земли его они разделят между собой, он мог зарабатывать себе на жизнь честным трудом и иметь честь сделаться одним из членов будущего пензенского или дмитровского муниципалитета».

Меж тем парижская гильотина («национальная бритва») работает не переставая.

Под конец террор поглощает и тех, кто его провозгласил: последние слова Робеспьера в Конвенте: «Республика погибла, разбойники победили».

17 августа 1793 года. Карамзин — Дмитриеву (из Орловской губернии, где время проходит «с людьми милыми, с книгами и с природою»): «Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов, — но мысль о разрушаемых городах и гибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кихотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю — человечество»; через месяц — Державину: «Времена нынешние не весьма благоприятны для литературы».

Летом 94-го — тому же неизменному Дмитриеву — «Все худо! Видно, нам не бывать счастливыми».

И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить...

Через год Хераскову: «Политический горизонт все еще мрачен. Долго нам ждать того, чтобы люди перестали злодействовать и чтобы дурачество вышло из моды на земном шаре».

Франция, Франция — «дурачество на земном шаре»; 27-летний писатель теряет охоту «жить в свете и ходить под черными облаками».

Через полгода после того, как эти слова появились в одном из писем к Дмитриеву, новой бурей принесены новые облака: Екатерина II умирает, на престоле Павел; из тюрьмы и ссылки возвращены Радищев, Новиков с друзьями... Но не успели обрадоваться, как — новые жесточайшие гонения на литературу и литераторов...

«Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя».

Пугающие французские армии меж тем занимают Голландию, Италию, Египет, а новый царь получает донос о «вредности для правительства безбожника Карамзина». Расправа на этот раз могла быть скорой — позже Карамзин скажет, что Павел лишил «награду прелести, а наказание — стыда...».

Черные облака все же пронеслись и на этот раз: граф Ростопчин, один из главных павловских фаворитов, к писателю благоволит... Тем не менее брату сообщается, что о новом журнале «и думать нечего». Остаются переводы, стихи — и то с опаскою; что, впрочем, не помешало Карамзину напечатать в сборнике «Аониды» (на 1798—1799 гг.) стихи о Древнем Риме, но, понятно, не только и не столько о Риме. Жесткие, горькие стихи:

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв, не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

Эти строки вполне можно было понять и как программу бунтовщиков. По мнению будущего историка, вряд ли стоит писать о тех, кто все «подлостью» терпит...

И, если так, может быть, истина у французов, не стерпевших в 1789-м и после?

Как известно, царица Екатерина, узнав о казни Людовика XVI, слегла. Худо ей было, страшно.

Карамзину же — много хуже. Тем, кто с самого начала боялся разрушенной Бастилии, ненавидел парижскую вольницу, тем жить теперь нелегко, но *просто*: им ясно, кого любить, понятно, что ненавидеть.

Но как быть тем, кто надеялся, уповая на Париж первых трех лет революции, и ужаснулся от следующих двух?

Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: *Блаженство!*
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Пушкин, вечный Пушкин (который в эти дни еще не появился на свет), он заставит своего *Андрея Шенье* в 1825 году произнести слова, немало объясняющие и карамзинское — «Все худо!».

Декабрист Николай Тургенев позже вспомнит (в своем труде «Россия и русские»), будто Карамзин был одно время на стороне санкюлотов и даже «пролил слезы», узнав о смерти Робеспьера. Сказано сильно, краски сгущены — нет, Николай Михайлович не был революционером, но *надеялся!* Надеялся на новую историческую весну, на быстрое, светлое торжество разума, просвещения... Надеялся в хорошей компании — с Шиллером, Гете, Радищевым, множеством лучших людей Европы.

Но грохочут исторические громы; разлетаются по Европе грозные парижские формулы: «Свобода должна победить какой угодно ценой. Вы должны карать не только предателей, но и равнодушных» (Сен-Жюст).

«Гражданин, что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля?» (из надписей на якобинском клубе).

«Может, в нем произошла французская революция?»

Оказалось, что история не ходит путями сентиментального просвещения. Оказалось, что рай наступит не завтра, даже не послезавтра. Оказалось, что надо многое пересмотреть, а человеку сложившемуся, честному, убежденному это необыкновенно трудно. И пока старые идеи утрачены, а новые не обретены — до тех пор неясно, как, зачем жить? Честный мыслитель в эти переходные месяцы и годы максимально беззащитен. Личные неприятности, которых прежде не заметил бы или мужественно пережил, теперь, в период «потери смысла» (выражение Тьнянова), бьют наотмашь, насквозь, случается наповал. Именно так, полвека спустя, другой русский писатель, разочарованный и потрясенный печальным, кровавым исходом другой французской революции, окажется на краю пропасти, куда его притом сталкивает запрет вернуться на родину, гибель жены, сына, матери; разбилась *первая* жизнь Герцена, но выжил, устоял, сумел начать *вторую*, а с нею — два главных дела: «Былое и думы», Вольную типографию.

«Непохожесть» Карамзина и Герцена тем более оттеняет сходство, подобие обстоятельств. Герцен это заметит и процитирует строки, которые назовет «выстраданными, огненными, полными слез»: «Век просвещения! Я не узнаю тебя!»

Кризис, *духовная драма*, настигает обоих близ 40-летнего рубежа; драма личная — не замедлит.

1793. Смерть любимого друга-единомышленника Петрова.

В деревенской глуши на Карамзина нападают разбойники — он,

чудом спасся (две легкие раны): не оказался вблизи нескольких мужиков, кинувшихся на подмогу, окончилась бы жизнь в июле 1794 года.

Любовь сначала счастливая — потом несчастная: не знаем даже ее имени. Только несколько строк в письмах к Дмитриеву.

«Теперь главное мое желание состоит в том, чтобы не желать ничего, ничего: ни самой любви, ни самой дружбы. Да, я люблю, если ты знать хочешь; очень любил, и меня уверяли в любви. Все это прошло; оставим. Никого не виню».

«Милая и несчастная ветреница скатилась с моего сердечного горизонта без грозы и бури. Осталось одно нежное воспоминание, как тихая вечерняя заря».

Слабеет зрение писателя, опасность слепоты.

Тяжелейший упадок духа.

«Судьба моя во власти Провидения; мне не хотелось бы дожить до старости. Лучше жить недолго, да умереть хорошо, то есть покойно, тихо, без большого страдания...»

Талант мой, как сибирский плод, недозрев, иссыхает...

Все удовольствия жизни истощил до последней капли...

Я один в свете, как в пустыне...

Пора гасить свет, — но для чего сердце не теряет желаний с потерей надежды?»

Приближается возраст гибели Пушкина, герценовского кризиса. Как спастись? Кто спасет? Друзья зовут в Петербург, но опасно: «близ царя, близ смерти...»

Карамзин серьезно задумывается — не пуститься ли в новое путешествие, по сравнению с которым европейский вояж 1789—1790-х годов пустяк: в *Хили* (то есть Чили), в *Перу*; на *остров Бурбон* (нынешний Реюньон в Индийском океане), на *Филиппины*, на *остров Святой Елены* (о котором до ссылки Наполеона почти никто и не знал): «Там согласился бы я дожить до глубокой старости, разогревая холодную кровь свою теплотою лучей солнечных; а здесь боюсь и подумать о сединах шестидесятилетия».

Это строки из письма к Дмитриеву от 30 декабря 1798 года. Угадываем тоску, которая гонит в теплые края из «павловских заморозков». С трудом можем сегодня вообразить, что значило в ту пору отправиться на Филиппины или в Хили — год на дорогу, десятилетия на разлуку.

Наконец, печалимся даже от случайного пророчества: *седины шестидесятилетия*, будто Николай Михайлович точно знает, что проживет не 55, не 65, но именно *шестьдесят лет* (без нескольких месяцев). Многие, видевшие его в конце жизни, запомнят «благородную седину».

Историком еще не стал, а уж сделался провидцем. И предстоявшие странствия точно определил. Только не в пространстве — по времени!

Неужели Рюрик, Иван Калита ближе, чем Перу или остров Бурбон?

Но чтобы пуститься в *путешествие* до конца жизни, до *седин шестидесятилетия*, требовалось как можно быстрее одолеть самого себя, Николая Карамзина. Отправить хандру прочь с уходящим XVIII столетием.

У 1800-го

«Поэт имеет две жизни, два мира; если ему скучно и неприятно в существовании, он уходит в сторону воображения и живет там по своему вкусу и сердцу, как благочестивый магометанин в раю со своими семью гуриями».

В карамзинской «стороне воображения» — огромные события, его «французская революция», которой мы снова почти не видим, не слышим, только удивляемся результату — тому, что выходит наружу, закрепляется печатным и письменным словом. Революция, Париж, вчера столь удручавшие, столь безнадежные, *вдруг* заняли свое место в таинственном пути человечества: снова это *вдруг*, за которым, конечно, страдания, сотни книг и споров, отказ от жизни...

«Как бы то ни было, доверенность к Провидению! Как говорит Карамзин и как должен говорить всякий добрый человек. Если есть бог, то есть и душа, вечность, бессмертье! А как не быть богу!»

В. А. Жуковский пересказывает Александру Тургеневу важную мысль Карамзина. Карамзин верует — без ханжества, истовости, без «внешности». С помощью разума, чувства и бога укрепляется в убеждении, что мир движется по особым законам и нужно иметь к ним доверенность, не жалуясь и не радуясь по-детски любому изгибу *Провидения*.

Однако дадим слово и самому Карамзину.

«Я слышу пышные речи за и против; но я не собираюсь подражать этим крикунам. Признаюсь, мои взгляды на сей предмет недостаточно зрелы. Одно событие сменяется другим, как волны в бурном море; а люди уже хотят рассматривать революцию как завершенную. Нет. Нет. Мы еще увидим множество поразительных явлений...»

Время движется не вспять — и нужно лишь разгадать законы движения, отыскать «малоизвестную стезю» к «храму истинной мудрости».

Французская революция страшна — но не поглотила цивилизацию, как некоторые полагают, а принесла *пользу*: хотя бы потому, что «государь вместо того, чтобы осуждать рассудок на безмолвие, склоняют его на свою сторону».

Фраза не столько верноподданная, сколько автобиографическая: низкий поклон парижской буре за то, что о многом важнейшем думать заставила — всю Европу вообще, Николая Карамзина в частности. История, казавшаяся до 1789-го довольно однообразной, *вдруг* преломилась; и сразу стали много интереснее и прежние, даже тусклые с виду исторические главы: все связано, сцеплено. *Сегодня* начиналось *всегда* — и нет более интересного дела, чем размышлять об этом.

Размышлять — не печатать... Однако и тут обстоятельства *вдруг* улучшаются.

Павел гибнет, на престоле Александр I, режим смягчен, просвещение амнистировано, Карамзин пишет «Оду на восшествие...».

Весна у нас, с тобою мы...

Как десять лет назад, он начинает журнал, и очень скоро «Вестник Европы» становится самым интересным, самым читаемым: редактор выписывает 12 лучших иностранных журналов, обсуждает главные,

самые интересные вопросы европейской, российской умственной жизни и истории.

«Свобода!» — провозгласили на весь мир французские революционеры; «Свобода есть право каждого делать все, что пожелает, ограниченное только одним: правом другого на то же самое».

Карамзин не соглашается, напоминая своим подписчикам, что «Франция после долговременного странствования возвратилась опять на то место, где была прежде, с той разницей, что королевская власть ограничивалась парламентами и собраниями, а воле консульской должно все покоряться в безмолвии».

Не станем пока что поправлять писателя (ведь «разница» старой и новой Франции прежде всего в гибели целой феодальной системы); заметим только важную и верную в общем мысль: нельзя достигнуть республики, демократии там, где еще нет для того условий; все равно предшествующая тысячелетняя история страны, уровень ее развития, дух ее народа определяют те формы, которые могут образоваться, утвердиться после переворота. Иначе говоря, «на редьке не вырастет ананас» (как говаривал по этому поводу известный русский государственный деятель Н. С. Мордвинов). Карамзин же настаивает в своем журнале, что к примеру «Франция по своему величию* и характеру должна быть монархией»; Россия — и подавно: мысль Монтескье, традиция XVIII столетия.

Что же, для обширных государств, выходит, нет свободы?

«Свобода, — отвечает Карамзин, — состоит не в одной демократии; она согласна со всяким родом правления, имеет разные степени и хочет единственно защиты от злоупотреблений власти».

Иначе говоря, для России начала XIX столетия естественной формой писатель считает самодержавие с твердыми законами; деспот же в отличие от просвещенного монарха и собственных ведь законов не соблюдает...

Итак, Карамзин объявляет, что самодержавие совместимо со свободой, и начинает довольно решительно говорить и писать на эту щекотливую тему.

Когда цензор Прокопович-Антонский испугался и нашел в новой повести Карамзина «Марфа-посадница» «воззвание к бунту», автор вспылил (такое с ним бывало крайне редко) и объявил, что не останется в России.

Кончилось тем, что в одном месте он заменил *опасное* слово *вольность* на более, оказывается, лояльное — *свобода*.

Снова почва под ногами: возвращение в литературу, журнал... Все это, естественно, согласуется с домашним счастьем — подобно тому, как прежде «черные облака» губили друзей и любовь.

Каждый день — с покинувшим столицу Дмитриевым; постоянно — с Тургеневыми, Андреем Вяземским, Херасковым, Василием и Сергеем Пушкиными (Сергей Львович много лет спустя будет настаивать, что маленький Александр Сергеевич при появлении Карамзина оставлял игрушки и не спускал с гостя глаз). Однажды появляется 18-летний Жуковский, Карамзин зовет его погостить на даче. «Жить вместе с Николаем Михайловичем, — пишет друзьям молодой поэт, — вообразите, какое

* Здесь — в смысле величины, размера.

блаженство, и порадитесь вместе со мною. Его знакомство для меня — счастье».

«Макрокосм ужасен — микрокосм прекрасен» (из старинного альбома).

24 апреля 1801 года Карамзин извещает брата о женитьбе на Елизавете Протасовой, «которую 13 лет люблю и знаю».

Итак, кажется, опять счастье литературное, домашнее, удовлетворение общественное: среди послереволюционных бурь и первых наполеоновских походов — в России «дней alexандровых прекрасное начало».

«Главное то, что можем жить спокойно... Желательно, чтобы бог не отнял у меня того, что имею» (Карамзин — брату Василию).

Мгновение, прекрасно ты...

Но близок пушкинский, 37-летний рубеж.

1802-1803

«Я лишился милого ангела, который составлял все счастье моей жизни. Судите, каково мне, любезнейший брат. Вы не знали ее; не могли знать и моей чрезмерной любви к ней; не могли видеть последних минут ее бесценной жизни, в которые она, забывая свои мучения, думала только о несчастном своем муже.... Все для меня исчезло, любезный брат, и в предмете остается одна могила. Стану заниматься трудами, сколько могу: Лизанька того хотела. Простите, милый брат, я уверен в вашем сожалении».

Несчастья не окончились.

31 октября 1803 года — указ Александра I о назначении Карамзина историографом с жалованием в год по две тысячи рублей ассигнациями.

Отказ от дальних странствий, от предлагаемой дерптской профессуры. Отказ от прозы, поэзии, журналистики.

До конца дней — историк!

Это было похоже на прыжок в пропасть, будто в ответ на некий, ему одному слышный зов.

37 лет «по-тогдашнему» — много больше, чем теперь: это уже поздняя зрелость; еще немного — и старость. Пушкин позже оценит подвиг Карамзина, начатый «уже в тех годах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению».

Решиться на такую перемену всего — цели, занятий, быта; так решиться!

Разумеется, у поступка имелся свой пролог (о котором уже кое-что говорилось).

Карамзин-историк начинался в Париже 1790 года, в минуты роковые; и в «Письмах русского путешественника», когда об этих минутах пришлось писать.

Еще не предвидя свой удел, он поместил в «Письмах» важнейшее пророчество, обращенное как бы к другим: «Больно, но должно по спра-

ведливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей Российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон — вот образцы! Говорят, что наша История сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословная князей, их ссоры, междоусобие, набег половцев не очень любопытны: соглашаюсь; но зачем наполнять ими целые томы? Что неважно, то сократить, как сделал Юм в „Английской истории“; но все черты, которые означают свойство народа Русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия, действительно любопытные, описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий: Владимир, свой Людовик XI: царь Иоанн, свой Кромвель: Годунов, и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества; его-то надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микеланджело».

Так разговаривал сам с собою Карамзин в 1792-м.

И продолжал — в 1793-м «под черными облаками», и в 1797-м, когда терпели то, чего «без подлости не можно...».

Карамзин-историк образуется и в те мгновения, когда «парижские ужасы» были поняты как яркая вспышка тысячелетней истории; когда он шутил в одном из писем «о необходимости ухода в кабинет для философических мечтаний и умствований», о предпочтительности Юма, Гельвеция, Мабли «томным элегиям»: «Таким образом скоро бедная Муза моя или пойдет совсем в отставку, или будет переключивать в стихи кантову метафизику с платоновой республикою».

Наконец, «Вестник Европы» был вестником сущего и минувшего: статьи о послереволюционной Европе, естественно, соседствовали с карамзинскими собственными историческими сочинениями; ведь как иначе понять дух своего народа, услышать голос прошлого, постоянно диктующий настоящему?

«Правда ли, — спрашивал граф Александр Воронцов в 1796 году, — что г-н Карамзин занят историей Бонапарта?»

Сам же Карамзин признавался Дмитриеву еще 2 мая 1800 года, что «по уши влез в Русскую историю; сплю и вижу Никона с Нестором».

Карамзин явно примеряется к минувшему — в поисках лучшей формы его завоевания. Писатель-историк создает несколько исторических повестей («Марфа-посадница», «Наталья, боярская дочь»); историк-писатель — документальные статьи и очерки — о Несторе, Никоне, российских древностях. И тот, кто несколько лет назад собирался «выбрать, одушевить, раскрасить», кто явно предпочитал художественный подход, теперь предлагает историку (то есть себе самому) не увлекаться «китайскими тенями собственного воображения»: «История в некоторых летах занимает нас гораздо более романов; для зрелого ума истина имеет особенную прелесть, которой нет в вымыслах».

«В некоторых летах» — это крайне любопытное мемуарное признание. Так же как слова об «особенной прелести», выдающие поэта и много лет

спустя повторенные Карамзиным, но уже маститым историком: «...в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники поэзии! Взор наш в созерцании великого пространства не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного, — к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?»

Все как бы устроилось само собою.

Карамзин постоянно делится с Иваном Ивановичем Дмитриевым своим желанием бросить литературу, журналистику и заняться историей.

«„Так приступай к делу, медлить нечего“, — сказал Дмитриев.

— „Я человек частный, — отвечал Карамзин, — без содействия правительства не достигну желанной цели; притом лишусь главных доходов моих: шести тысяч рублей, которые приносит Вестник Европы“.

— „Ты ничего не потеряешь, трудясь для славы отечества, — отвечал Дмитриев, — пиши только в Петербург — я уверен в успехе“.

— „Тебе все представляется в розовом виде“, — заметил Карамзин.

Долго спорили они, наконец, Карамзин должен был уступить убедительному красноречию друга своего и сказал:

— „Пожалуй, я напишу, но берегись, если откажут“.

Письмо было отправлено к товарищу министра народного просвещения М. Н. Муравьеву, воспитателю императора Александра, знаменитому покровителю просвещения. Результат письма известен: 31 октября состоялся высочайший указ...»

Эпизод этот достоверен, позднейший биограф Карамзина М. П. Погодин пользовался надежными сведениями, в том числе рассказами друзей Карамзина и самого Карамзина. Отметим, между прочим, что роль друзей представлена прекрасно: Дмитриев, а также Михаил Муравьев — отец будущих декабристов, Никиты и Александра Муравьевых, крупный государственный человек, сам отличный знаток истории...

Чего же не хватает в погодинском рассказе?

Во-первых, личной трагедии 1802 года, завещания умирающей первой жены Карамзина («Лизанька того хотела»); резкого, при тех обстоятельствах очень понятного желания — *переменить жизнь*.

Но как ни важен этот эпизод, необходимо и второе, самое важное дополнение к рассказу Погодина. Почему Карамзин заводил такие разговоры с Дмитриевым? Чем плоха была ему литература, журналистика, где он занимал первые места и имел в достатке славу и читателей? Что за таинственный зов увлек так сильно — его, давно уж не мальчика, человека сдержанного, чуждого экзальтации? Ведь десятки замечательных современников с огромным интересом наблюдали за историческими вихрями конца XVIII века; не только наблюдали — постоянно думали о них, писали; но ни Гете, ни Кант, ни Шиллер, ни Державин не пойдут в своем интересе к истории так далеко, чтобы бросить поэзию, философию, чтобы из девяти муз столь же решительно предпочесть Клио. Тут были какие-то глубоко скрытые, особенные коренные причины. Иначе не совершил бы Николай Карамзин в себе самой тайной «французской революции»...

Однако прежде, чем определять *причину причин*, заметим, что через 2 месяца после «посвящения» в историки состоялась вторая его женитьба: при замеченной уже нами в Карамзине закономерной связи

общего и личного — это кажется совершенно естественным. «Император пожаловал мне как историографу пенсию в 2000 рублей. Я отказался от своего журнала, чтобы заниматься лишь нашими анналами. После этой новости — вот другая, более важная для моего счастья. Погруженный 18 месяцев в глубочайшую печаль, я снова нашел в себе способность к тому, чтобы любить и быть любимым. Я смею еще надеяться на счастье; провидение сделает остальное. <...> Моя первая жена меня обожала; вторая же вызывает мне более дружбы. Для меня этого достаточно...» (из письма Вольцогену).

«БУДУЩЕГО ЗОВ»

Прежде чем углубиться во вторую, «историческую», жизнь Карамзина, попытаемся все-таки понять...

Карамзин шел русскую историю *открывать*. Много лет спустя Пушкин запишет: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом».

Карамзин — Колумб, то есть *первый*... Между тем и сам Карамзин, и Пушкин, и еще немало число образованных людей хорошо помнили, что в XVIII столетии древнюю Россию искали и находили Ломоносов, Татищев, Щербатов, Болтин — и не только они... Пять томов русской истории составил и француз Левек.

Из этого ряда двое должны быть выделены особо:

Василий Никитич Татищев (1686—1750): после его смерти вышла «История российская с самых древних времен», где рассказ о событиях останавливался на XVI веке.

Михаил Михайлович Щербатов (1733—1790), выпустивший 15 частей «Истории российской от древнейших времен», которые оканчивались на 1610 году.

Карамзин будет часто на них ссылаться; много раз обратится к тем летописям, хронографам, духовным сочинениям, которые были обнаружены и впервые введены в оборот предшественниками.

Позже научный авторитет Татищева и Щербатова в общем возрастал. В середине XIX столетия крупный историк-юрист С. Ешевский станет сожалеть, что российская публика забыла «почтенный труд князя Щербатова»; великий историк Соловьев тоже скажет немало добрых слов об ученых XVIII столетия; в наши дни труды Татищева переизданы; подтвердились многие его сведения, к которым прежде относились скептически. Открыв любой современный курс историографии, мы найдем, что Татищев, Щербатов уважаемы там примерно так же, как Карамзин...

Но Карамзин — Колумб, а его предшественники, выходит, вроде тех доколумбовых путешественников, которые тоже достигли Америки, но мир об этом не скоро узнал, не оценил?

Дело в том, что Татищева, Щербатова *не читали* (за исключением узкого круга знатоков). Для большинства читающей публики — в том числе для круга Пушкина, декабристов — Карамзин станет действительно первым.

Восклицание известного Федора Толстого (после прочтения Карамзина): «Оказывается, у меня есть Отечество!» — выражает ощущение сотен, даже тысяч образованных людей.

Карамзин в нашем повествовании только еще приступает к работе, а мы, опережая события, толкуем о плодах.

Но все же повторим (это нужно для объяснения карамзинского феномена): «История Государства Российского» имела больший *общественный успех*, чем любой другой исторический труд до и после Карамзина.

Могут возразить, а разве Соловьев (1820—1879), Ключевский (1841—1911) не издавались при жизни куда большими тиражами, чем Карамзин, разве не имели они настоящего признания?

Да, все так. Но опять напомним, что тираж три, шесть тысяч экземпляров в начале XIX столетия мог означать больший успех, нежели 10, 20, 50 тысяч век спустя; он охватывал практически всю читающую публику.

Другие исторические труды имели не меньшее, иногда и большее *научное* значение; но о ком же еще, кроме Карамзина, могло быть записано: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечства. <...> Несколько времени ни о чем ином не говорили» (Пушкин).

Пред нами культурное событие, сопоставимое скорее не с другими трудами по истории, а с выдающимися общественно-литературными явлениями, такими, скажем, как «Горе от ума», «Герой нашего времени».

Ни один последующий исторический труд, пусть много более совершенный, не мог иметь подобного значения, не мог быть первооткрытием; как не может быть «колумбовым плаванием» короткий бросок через океан суперсовременного лайнера.

Но отчего же Татищев, Щербатов, писавшие за несколько десятилетий до Карамзина, — отчего же *не они*?

Ответ поверхностный таков: не было у них карамзинского таланта, скучно было разбирать их труды, «почтенные», но «тяжелые по изложению» (Ешевский). Карамзин переводил «тяжеловесный, неудобочитаемый слог кн. Щербатова в изящные, литературно-отточенные, плавно-текущие периоды» (Кизеветтер).

Сказано хорошо, красиво, но *мало*. Не удовлетворяет нас это объяснение. Возможно, и не было у первых историков карамзинского пера, но — писать умели, недурно высказывались на языке своего времени. Щербатов по отношению к Карамзину из поколения отцов, а Татищев сошел бы и за прадеда. Попутно заметим, что в запретном, крамольном сочинении «О повреждении нравов в России» М. М. Щербатов высказывался с особенной живостью — много свободнее, чем в своей «Истории»...

Итак, дело не в недостатке дарований.

Дело, прежде всего, *в языке*.

«Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова» (Пушкин).

Свидетельство, достаточно авторитетное.

Первая причина, помешавшая Татищеву и Щербатову выйти в Карамзины: не было в их распоряжении *такого* языка. Это понимали, между прочим, и сами предшественники. Вспомним, как сердился один из приятелей на «Письма русского путешественника» за то, что Карамзин «хочет научить нас нашему родному языку, которого мы не слышали».

Предоставим еще слово современникам:

11 июля 1785 года А. А. Петров иронически воображает друга Карам-

зина, пишущего на «русско-славянском языке, долгосложно-протяженно-парящими словами».

Сам Карамзин (19 апреля 1787 г.): «Я лишен удовольствия много читать на родном языке. Мы еще бедны писателями. У нас есть несколько поэтов, заслуживающих быть читанными».

Граф П. В. Завадовский высказывает, по всей видимости, мнение целого круга «государственных людей», когда утверждает в 1800 году, что «история та только приятна и полезна, которую или философы или политики писали. Но еще наши науки и наш язык не достигли до того: то лучше пользоваться чужим хлебом, чем грызть свои сухари».

А ведь девятью годами раньше Я. Б. Княжнин, взяв в руки первую книжку «Московского журнала», воскликнул: «У нас не было еще такой прозы!»

Пройдет несколько десятилетий, и П. А. Вяземский запишет то, что как бы само собою разумелось для его поколения: «С „Московского журнала“, не во гнев старозаконникам будь сказано, начинается новое летосчисление в языке нашем... Эпоха преобразования сделана Ломоносовым в русском стихотворстве, эпоха преобразования в русской прозе сделана Карамзиным».

О том же — стихами:

...Язык наш был кафтан тяжелый
И слишком пахнул стариной,
Дал Карамзин покрой иной —
Пускай ворчат себе расколы —
Все приняли его покрой...

Итак, в конце XVIII и в начале XIX века кто только не замечает, что язык поэзии выработался (заслуга Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Державина и многих других); громко звучит и язык драматический (Фонвизин); однако труднее, позднее образуется новая проза, публицистика, особенно мучительно вырабатываются, «выговариваются» современные понятия, метафизические абстракции...

Не скоро шла языковая революция, но шла!

В. А. Озеров в 1810-м напишет Жуковскому: «Примером почтенного Николая Михайловича Карамзина и Вашим примером я уверился, что наш язык ко всем родам слога способен».

Но сам Карамзин в ту же пору (по свидетельству друга-родственника П. А. Вяземского) «признавал трудность иногда выразить по-русски самую обыкновенную вещь, самое простое понятие».

Позже сердитый Катенин вздумал уязвить Карамзина и вот что написал своему постоянному корреспонденту Николаю Бахтину: «Не другие к нему [Карамзину] приноровились, а, напротив, он сообразился с общим вкусом! Это ясно и неоспоримо... Время одно все сделало».

Строки любопытные. То, чем Катенин хотел «снизить» Карамзина (это видно по общему ворчливому тону письма), как раз поднимает, увеличивает его роль.

Можно было бы даже дополнить катенинский «упрек»: не один Карамзин — многие участвовали в ломке, освобождении литературного языка одновременно с ним: Дмитриев, Петров, Андрей Тургенев, Жуковский, Денис Давыдов, Батюшков, а рядом, за ними целые отряды «карамзи-

нистов»... И сверх того многие из их литературных противников («архаистов»), вольно или невольно, — важные деятели той же великой реформы языка...

Наконец Пушкин!

Все это доказывает, что ломка была естественной, назревшей, необходимой, — Карамзин ярче, резче, чуть раньше выразил то, что многие сознавали; был он в этом деле революционером, новатором, но что же за революция с одним инициатором, исполнителем?

Мы не беремся даже вкратце представить здесь борьбу за новый язык; пока же вот что повторим: без обновленного литературного языка невозможно было начать ту русскую историю, о которой мечтал Карамзин.

Меж тем как часто в книгах и статьях его языковое и историческое дело рассматриваются порознь: первое — по ведомству филологов, второе — историков... Мы же не устанем соединять: новый литературный язык — новая историография; живой язык письма — существенная причина того, что Карамзин был *обречен на успех!*

Очень важная причина. Но — не самая главная!

На вопрос «Что нужно автору?» Карамзин (согласно Вяземскому) однажды ответил, что *«таланты и знание, острый, пронизательный ум, живое воображение все еще недостаточны»*. Надо еще, *«чтобы душа могла возвыситься до страсти к добру, могла питать в себе святое, никакими сферами не ограниченное желание всеобщего блага»*.

Мы же «за него» припомним несколько иные строки —

Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов...

Карамзин услышал. Дело в том, что российским читающим людям 1800-х годов нужна была такая история, которую он принялся писать. Очень нужна, и с каждым годом нужнее.

Но неужели не требовалась при Татищеве, Щербатове?

Да, требовалась; в течение XVIII века читали все больше, интересовались все большим.

Н. И. Новиков издавал «Древнюю российскую Вивлиофику», где было множество старинных государственных документов, писем, «исторического чтения». Десять частей первого издания (1773—1775) и двадцать частей второго (1788—1791) разошлись, хотя и не скоро. К прошлому интерес был немалый, несомненный (иначе, кстати, историографы XVIII века и не брались бы за дело), но все же не совсем тот интерес, как несколько десятилетий спустя.

Разрыв во времени небольшой — зато годы какие!

...Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Метались смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.

Пушкинские строки (1836 г.) кажутся стихотворным переложением карамзинской прозы 1802 года.

«Зерцало веков, история представляет нам чудесную игру таинственного рока... Какие удивительные перемены! Какие чрезвычайные происшествия!»

Французская революция, дворянский протест против Павла, похороны Суворова, где резко выразились национальные, оппозиционные чувства; приближающаяся к русским границам волна наполеоновских войн; 1812-й еще впереди, но его словно предчувствуют лучшие умы — Карамзин более всего.

Итак, в 1800-х годах ощутима (да не в одной России — у десятка народов, и в этом смысле Карамзин гражданин мира!) та *общественная, национальная потребность*, которая, конечно, не в один день развилась: потребность исторически осмыслить самих себя, свое место в родной и мировой истории, свое будущее, которое существует уже сегодня и требует, чтобы его разглядели...

Скажем по-другому (вслед за Ю. М. Лотманом): лучшим итогом столетнего российского развития после Петра были люди, определенный, численно небольшой, а по значению огромный слой русских людей — мыслящее меньшинство, *великий русский читатель!* Карамзин — один из них; его друзья — среди них; будущие читатели его истории — тысячи людей, которых он не знает лично, но ощущает, угадывает, слышит «будущего зов».

Мы попытались ответить, определить причины карамзинского обращения в историки: угадана общественная потребность, создается новый язык... А затем исторический труд Карамзина будет уж сам по себе образовывать новый язык, развивать, обогащать зовущий, призывающий его «общественный спрос».

Однако до того Историю следовало написать.

ПЕРВЫЕ ТОМА

Историограф Карамзин... Слуги, случалось, докладывали своим господам, что явился *граф Истории*.

Никто, кстати, не знал точных прав и обязанностей «графа»: когда несколько лет спустя Сергей Глинка вздумал тоже выпускать историю, власти ему запретили: история-де занята Карамзиным. Глинка переименовал свой труд в «учебный курс» (учебники в запрет не включались) и был *дозволен*.

«Снисходя на просьбу Московского императорского университета почетного члена и историографа Николая Карамзина, государь император высочайше указать соизволил... о невозбранном позволении просителю читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках, от святейшего Синода зависящих, древние рукописи, до российских древностей касающиеся».

Карамзин не собирается выдавать публике свой труд мелкими частями — опытный журналист, он понимает, что, когда будет пройдена значительная часть пути и освоено несколько веков, только тогда стоит представить *целое*. Дмитриев по секрету извещал друзей, будто публикация

начнется по окончании IV тома; на самом деле до типографии придется написать вдвое больше...

Поэтому все знают, что Карамзин *пишет*, но о подробностях наслышан только самый узкий круг. Для широкой же публики исчез литератор Карамзин, скрылся, заточил сам себя — и по этому поводу толки, шутки: кто знает, что он там втайне сочиняет, и сочиняет ли?

Том I — древнейшая жизнь славян (позже границы его раздвинулись и охватили время до Владимира включительно). Время написания — 1804 — начало 1805-го.

Том II — от 1015 до 1169 года — закончен в начале 1806 года.

Много ли дает подобная сводка? Обратимся к «подробностям».

8 июля 1804 года — брату Василию: «Тружусь усердно, и, если не совершу этой работы, то, по крайней мере, не от лени».

13 сентября — брату: «Все идет медленно и на всяком шагу вперед надобно оглядываться назад. Цель так далека, что боюсь даже и мыслить о конце».

1 ноября того же года — рождается первый ребенок (от Катерины Андреевны): дочь Наталья, «белокожая и голубоглазая, как мать».

20 декабря — брату сообщается, что работа в Москве, на Никольской улице, идет «изо всех сил», силы же «пока есть»: «Теперь пишу о нравах, правлении и вере древних славян и надеюсь это кончить около февраля, чтобы приняться уже за нашу историю с Рюрика».

В этом году Европа взволнована превращением «первого консула» в императора Наполеона.

21 января 1805 года — брату: «Я продолжаю работать и думаю, что мне не отделаться от Киева: надобно будет туда съездить».

Нет, в Киев съездить не пришлось — этого города Карамзин так и не увидит. Непроходимые пространства все более заменяются освоенным временем...

26 марта: «Пишу второй том, еще о временах Рюрика».

В эти же дни и месяцы Европа снова резко разделилась на два военных лагеря, и молодой царь Александр в союзе с Англией и Австрией надеется остановить Бонапарта.

Лето и осень 1805-го: русские армии двигаются навстречу неприятелю.

Карамзин в деревне столь серьезно заболевает лихорадкой, что оставляет распоряжение насчет разных архивных бумаг — куда возвратит в случае смерти.

15 ноября: «А любезный наш Карамзин терпеливо сносит жужжание вокруг себя шершней и продолжает свою „Историю“. Он уже дошел до Владимира» (Дмитриев — Жуковскому).

Дерзость Бонапарта изумляет историка: «Перебьет и перестреляет он еще многих, пока совершенно не слезет с цепи иль не взбесится. Такого медведя давно не было в свете» (из письма к брату).

Начало 1806 года: в Петербург посылается отчет об окончании II тома «от первых князей Варяжских до смерти Владимира»; заключил его обзорением гражданского и нравственного состояния древней России». Карамзин надеется в III томе «дойти до Батыея», в IV — «до первого Ивана Васильевича; там останется написать только два до Романовых. <...> Теперь я уже свободно перевожу дух».

Тем не менее — задача куда более трудная и долгая, чем казалось 15 лет назад; нельзя миновать скучные княжеские междоусобицы, разные не затрагивающие душу элементы старинной жизни, нельзя притом и описывать «китайские тени воображения»...

А соблазн велик! Надежных фактов мало, первые века Киевской Руси во мгле — зато немногие древние легенды тянут «в омут», к повести, поэме...

Перед описанием знаменитой истории о княгине Ольге, отомстившей древлянам за убитого Игоря (воробы и голуби, зажегшие столицу племени — Искоростень), Карамзин замечает: «Здесь летописец сообщает нам многие подробности, отчасти не согласные ни с вероятностями рас-судка, ни с важностию Истории и взятые, без всякого сомнения, из народ-ной сказки; но как истинное происшествие должно быть их основанием, и самые басни древние любопытны для ума внимательного, изображая обычаи и дух времени, то мы повторим Несторовы простые сказания о мести и хитростях Ольгиных».

Незадолго перед тем — при известии об Аустерлице — «я несколько ночей не спал и теперь еще не могу привыкнуть».

23 января 1806 года — в Английском клубе, где *вся Москва* чествует Багратиона, конечно, присутствует Карамзин (вместе с несколькими героями «Войны и мира»!).

Историк не удерживается и по-старинному сочиняет «Песнь воинов»:

Цари, народы слезы льют:
Державы, воинства их пали;
Европа есть юдоль печали.
Свершился ль неба страшный суд?
Нет, нет! У нас святое знамя,
В' руках железо, в сердце пламя:
Еще судьба не решена.

.....
Пощады нет: тебя накажем
Или мы все на месте ляжем,
Что жизнь для побежденных? — Стыд!

Еще дочь у Карамзина родилась, но недолго прожила...

IX, X век, Рюрик, Олег, Владимир — и Наполеон, Багратион, Аустерлиц в известном смысле не разделимы. Последние события еще острее за-ставляют чувствовать связь времен, видеть предысторию, близкую и дальнюю.

«Славяне Дунайские, оставив свое древнее отечество на Севере, в VI ве-ке доказали Греции, что храбрость была их природным свойством и что она с малою опытностию торжествует над искусством долголетним».

Но притом «храбрость, всегда знаменитое свойство народное, может ли в людях полудиких основываться на одном славолубии, сродном толь-ко человеку образованному? Скажем смело, что она была в мире зло-дейском прежде, нежели обратилась в добродетель, которая утверждает благоденствие государств: хищность родила ее, корыстолюбие питало».

«Святослав, видя малое число своих храбрых воинов, большею частию раненных, и сам извлеченный, решился наконец требовать мира. Цимиский,

обрадованный его предложением, отправил к нему в стан богатые дары. „Возьмем их, — сказал великий князь дружине своей, — когда же будем недовольны греками, то, собрав войско многочисленное, снова найдем путь к Царюграду“. Так повествует наш Летописец, не сказав ни слова о счастливых успехах греческого оружия».

Как видим, Карамзинская любовь к отечеству — не за счет просвещения. Патриотизм просвещенного человека...

К сожалению, мы, как и прежде, плохо слышим главный, внутренний голос писателя-историка, довольствуясь только результатом, внешней канвой. Писем и воспоминаний совсем немного, и на то были, пожалуй, особые причины. Прежде всего — уединение, неразговорчивость. Изредка историк появлялся на людях «за бостоном» с обычной грустной улыбкою и, «казалось, рад бы был все человечество поднять до себя» (Ф. Ф. Вигель).

«Занимаюсь только моей доброй женой и русской историей».

Катерина Андреевна, от которой Карамзин ожидал более дружбы, чем любви, оказалась женой хорошей, едва ли не идеальной. Ее личность, несмотря на пристальное внимание современников и потомков, все же загадочна: причиной тому, наверное, одно из главных достоинств этой женщины, переходящее в «недостаток» (для историков). Мы подразумеваем сдержанность, спокойную естественность, нелюбовь к пустой светской болтовне...

Необыкновенный характер был, вероятно, образован нелегкими обстоятельствами. Внебрачная дочь знатного вельможи Андрея Ивановича Вяземского, получившая фамилию Колывановой (по месту рождения: Колывань — он же Ревель, Таллин), несмотря на удочерение, обеспечение и отличное воспитание, она, конечно, прекрасно понимала свое особое положение, порою неизбежно унижительное. Карамзин заметил, понял ее — 23-летняя девушка, выходя за старшего 14-ю годами знаменитого человека, поняла и почувствовала его, как никто. Одобрив этот брак, знаменитый адмирал Н. С. Мордвинов записал: «Умный человек всегда будет хорошим мужем. Я не сомневаюсь, что г-н Карамзин сделает ее счастливою».

Любовь вскоре соединилась с редкостной дружбой, скрепленной радостями от живых детей и горестью об умерших... Наверное, ни у одного известного русского писателя не было лучшей жены.

«Жизнь мила, — запишет Карамзин, — когда человек счастлив домашними и умеет работать без скуки».

Жизнь была мила — «История» шла вперед.

Позже необыкновенность этой женщины будет осознана совершенно разными людьми, от юного Пушкина до царя Александра. Но об этом — не сейчас...

Являлись, впрочем, поводы, соблазны — выйти разок-другой из круга семьи и древностей, выйти и громко заговорить, заспорить, оставить следующим поколениям разного рода исповеди и программы.

Искушение являлось и мужественно отвергалось.

Противники же, недоброжелатели, наконец насмешники «из своего круга» не только говорили, но и писали.

ЗАПОВЕДИ КАРАМЗИНИСТОВ

1

Карамзин есть автор твой, да не будет для тебя иных авторов кроме его.

2

Не признавай ни одного писателя ему равным...

3

Не произноси имени Карамзина без благоговения.

4

Помни сочинения Карамзина наизусть...

5

Чти русского путешественника и Бедную Лизу, да грустно тебе будет и слезлив будешь на земле...

6

Не критикуй!

7

Не сравнивай!

8

Не суди!

9

Не говори об Истории правды.

10

Не прикасайся до переводов его, не трогай сочинений его, ни «Похвального слова» его, ни «Пантеона» его, ни Марфы-Посадницы его, ни Натальи, боярской дочери его, ни всего Путешествия его, ни всего елико Николая Михайловича.

Ехидные шуточки насчет разных карамзинских изданий и множества поклонников...

Но произносится и кое-что весьма серьезное.

«Я не знаю, сделал ли господин Карамзин эпоху в истории русского языка: но ежели сделал, так это очень худо; ибо если сделать эпоху, значит произвести некоторую перемену в слоге, то в книге моей пространной ясно показано, какая перемена воследовала с языком нашим». Далее автор этих строк утверждает, что в «Бедной Лизе» «худые нравы названы благовоспитанностью», а повесть Карамзина «Наталья, боярская дочь» он «вырвал бы из рук дочери своей».

Адмирал А. С. Шишков печатает в Петербурге свое «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», где защита архаических форм, неприятие карамзинского новаторства незаметно переходит в

полудонос: легкий слог — легкие мысли — худые правила — «разврат общественный» — революция почти что...

Начинается большой, сложный диспут о судьбах русского языка и словесности — диспут, в котором примут то или иное участие десятки сторонников и противников Карамзина. «Все» — кроме самого историкографа.

Некогда ему спорить — работать надо.

Зимой в московском доме, сперва в кругу новых родственников Вяземских, затем в квартире, снятой на Никольской (где поселился и Дмитриев: шутники опять язвили, будто вся российская словесность помещается отныне в Москве на Никольской улице!); с мая по октябрь в имении Вяземских, Остафьеве близ Подольска.

Жизнь простая: встает в девятом часу, час прогулки — и скрывается до трех-четырёх, иногда, если работа хорошо подвигается, так и позже.

К счастью, подрастает и с каждым годом все больше напоминает сводный брат жены, Петр Андреевич Вяземский: 11-летним мальчиком он печалился, что сестра выходит за *старого* Карамзина (грусть же свою изливал «стихами самого Карамзина!»); позже очень сблизилась, хотя старший до поры до времени иронизировал над литературными опытами младшего (только много позже «признал»).

Петр Вяземский не был столь молчалив и сдержан, как сестра, и полвека спустя описал голые, оштукатуренные стены в кабинете историка, где «не было шкапов, кресел, диванов, этажерок, пюпитров, ковров, подушек».

«Письменным столом его был тот, который первый попадется ему на глаза. Обыкновенный небольшой из простого дерева стол, на котором в наше время и горничная девушка в порядочном доме умываться бы не хотела, был завален бумагами и книгами. <...> Никакой авторской обстановки нашего времени. Постоянного сотрудника даже и для черновой работы не было. Не было и переписчика».

Не было постоянного сотрудника...

Зато было много друзей и помощников; поскольку же большая их часть в ту пору жила в одном городе с Карамзиным, то писем и записок почти не писали, все решалось посещениями, разговорами, — но как же нам их услышать почти через два века?

Недостаток документов — избыток сомнений...

Так зарождалась — глухо, неявно, а много десятилетий спустя более определенно — версия, что Карамзин *один бы не справился*.

Действительно, писатель, поэт, историк-дилетант берется за дело неслыханной сложности, требующее огромной специальной подготовки. Если бы он избегал серьезной, сугубо ученой, «сухой» материи, а только бы живо повествовал о былых временах, «одушевлял, раскрашивал», — это еще сочли бы естественным; но с самого начала каждый том делится на две половины: в первой — живой рассказ, и кому этого достаточно, может не заглядывать во второй отдел, где сотни примечаний, ссылок

на летописи, латинские, немецкие, шведские, польские источники, тщательное сравнение версий.

Суровая наука. Положим, историк знает много языков. Но сверх того появляются источники арабские, венгерские, еврейские, кавказские... И пусть к началу XIX века наука история еще не столь резко выделилась из словесности, как это случится позже, — все равно вчерашнему литератору придется теперь углубиться и в палеографию, и в философию, и в географию, и в археографию. Татищев и Щербатов, правда, совмещали историю с серьезной государственной деятельностью, но ведь профессионализм постоянно возрастает; с Запада приходят серьезные труды немецких и английских ученых; стародавние, летописно-наивные способы исторического письма явно отмирают...

Когда же, в самом деле, успел 40-летний литератор овладеть всей новой и старой премудростью? Только на третьем году работы признается близким друзьям, что перестает бояться «ферулы Шлецера» (то есть розги, которой мог бы наказать нерадивого ученика маститый немецкий академик).

Меж тем наблюдательный современник С. П. Жихарев записывает (24 марта 1807 г.), что в Петербурге Карамзиным «восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горою; прочие же про него или молчат или говорят, что пишет изряднехонькою прозою...»

Иначе говоря, в салонах «верят в успех *повести*, но никто почти не верит в „Историю“...»

В архив он, конечно, ходил, но не слишком часто: искали, отбирали, доставляли старинные манускрипты прямо на стол историографа несколько специальных сотрудников, возглавляемых начальником Московского архива министерства иностранных дел и великолепным знатоком древностей Алексеем Федоровичем Малиновским. Много лет спустя Карамзин ему напишет: «Четверть века я от Вас не видал ничего, кроме доказательств истинной дружбы».

Архивы и книжные собрания иностранной коллегии, Синода, Эрмитажа, Академии наук, Императорской публичной библиотеки, Московского университета, Троице-Сергиевой и Александро-Невской лавры, Волоколамского, Воскресенского, Софийского монастырей; сверх того, десятки частных собраний; наконец, архивы и библиотеки Оксфорда, Парижа, Копенгагена и других иностранных центров...

Среди работавших на Карамзина (с самого начала и позже) несколько будущих замечательных ученых, например, Строев, Калайдович... Они, кажется, больше других прислали и замечаний на подготовленные тома (выражаясь по-сегодняшнему, опытные рецензенты!). И кажется, уж готов ответ — вот чьим трудом (пусть и упоминая о том в примечаниях) воспользовался главный историограф. Вот кто — *соавторы*... И в некоторых современных работах Карамзина упрекают за то, что работал «не один»...

Однако прислушаемся к самим «соавторам». Чувствовали ли они себя обделенными, незаслуженно задвинутыми в тень?

Да им такое и в голову не приходило! П. М. Строев с благоговением вспоминал, какую радость испытывал, прийдя к Карамзину «с гостинцем», то есть с новыми документами, выписками, замечаниями.

Как опасно все-таки судить одну эпоху по правилам другой. Позже,

когда авторская личность сильнее разовьется, выделится, такое сочетание историографа и сотрудников могло бы показаться щекотливым... Однако в первые годы XIX века все казалось нормальным; да и архив едва ли открылся бы для младших, если бы не было царского указа о *старшем*. Сам Карамзин, бескорыстный, с обостренным чувством чести, никогда бы не позволил себе прославиться за счет сотрудников... Но в том-то и дело, что почти не было противоречий... К тому же разве только «архивные юноши» работали на *графа Истории*?

Вся Россия — и нужно ли лучшее доказательство общественной потребности в карамзинской Истории?

Державин посылает ему свои соображения о древнем Новгороде; юный Александр Тургенев привозит нужные книги из Геттингена и отныне будет постоянным «европейским корреспондентом», следящим, чтобы Карамзин не пропустил чего-то важного в новых трудах.

В начале 1806-го Тургенев присылает, между прочим, пражские ученые журналы за 1785-й, затем выписывает из Голландии книгу Ибн-эль-Амуса «*Historia Saracenia*»*.

Вместе с ним, чем только могут, стараются содействовать Жуковский, Дмитрий Блудов (молодежь с этого времени постоянно вьется около своего Карамзина).

Старые рукописи обещают прислать Д. И. Языков, А. Р. Воронцов.

Еще важнее участие главных собирателей: А. Н. Мусина-Пушкина. Н. П. Румянцева; один из лучших знатоков древностей, будущий президент Академии А. Н. Оленин присылает 12 июня 1806 года из Петербурга важнейший текст, 749 лет назад дописанный к древнейшему Евангелию: «Живущему у меня г-ну Ермолаеву я поручил сие Евангелие списать, страница в страницу, строка в строку, слово в слово, буква в букву — тем же точно почерком, как в подлиннике написано <!> только литерами в половину меньше оригинала».

Остромирово Евангелие 1057 года — и поныне самая старая из дошедших к нам русских книг!

Без дружбы, помощи отовсюду историк не только бы не окончил — даже не начал бы! И еще раз повторим, что в этом не слабость, не умаление, а сила Карамзина: он своим пером объединяет, оживляет драгоценное «сырье»; он творец, завершитель, душа Истории. Множество любопытных, сегодня сказали бы *сенсационных*, документов открыли историки и коллекционеры XVIII века, но все равно в XX веке нелегко даже представить, как мало было известно о древней России в начале 1800-х годов.

Для неведомого материка требовался Колумб, который не окончит — только *откроет*...

Сотни фактов, имен, древние книги, летописи, известные сегодня студентам, школьникам, миллионам людей, — многое из этого было совершенно неведомо в дни Аустерлица и *первых томов*.

Еще только через несколько лет канцлер и богатейший покровитель наук Николай Румянцев разошлет на свои средства десятки ученых по

* История сарацинов.

русским монастырям и западным архивам — добывать «историческое сырье»*.

Карамзин открывал сам и своею работою стимулировал к розыскам других.

«Я имел случай, — радуется историк, — достать некоторые драгоценные для нашей истории материалы: письма папы к российским великим князьям с 1075 года, выписанные из Ватиканского архива нынешним варшавским епископом для короля Польского в 1780 году, и еще журнал польских послов, бывших в Москве во время Димитрия Самозванца и Шуйского».

Ипатьевская летопись, одна из главнейших русских летописей: ее нашел Карамзин!

Троицкая (сгоревшая позже в пожаре 1812-го) — Карамзин.

Судебник Ивана Грозного — Карамзин.

А. Тургеневу с радостью сообщается, что найдено «Путешествие игумена Даниила» — XII век, один из древнейших памятников словесности.

В письмах, документах Карамзина — постоянное удивление, радость открытия, иногда пополам с огорчением: глава уже написана, новонайденная же летопись все разрушает.

Это совершенно особая тема — источники «Истории Государства Российского», и мы хотим только напомнить о «колумбовом» духе первооткрывательства: *вдруг* ханские ярлыки, *вдруг* письмо Едигея; Калайдович сообщает об открытии «Повести о Куликовской битве», обнаруживаются бумаги о Кучуме; польские документы Чацкого, новые русские исторические песни.

Замечательная новость — открытие одного из удивительнейших образцов древнерусской литературы — «Моления Даниила Заточника».

По заданию Карамзина делаются извлечения из венецианской книги XVII века «Il Demetria Historia tragica»**.

Из библиотеки художника-коллекционера Федора Толстого — Псковская, Морозовская летописи и другие рукописи. Малиновскому пишет: «Я ненасытен, присылайте как можно более».

Карамзин использовал для своего труда около 40 летописей (некоторые в разных списках) — прежний «рекорд» принадлежал Щербатову, изучившему 21 летопись.

В Истории упоминается 350 авторов и названий.

Позже не один суровый критик (Милюков, к примеру) произнесет, что в 1803-м было еще слишком рано браться за «Историю Государства Российского»: следовало подождать, поискать... Вот с этим никак не согласимся! Без материалов нет Истории; но и без Истории плохо обнаруживаются материалы. Заколдованный круг. Требовалось разорвать, Карамзин пробует.

* Об этом недавно вышла содержательная книга В. П. Козлова «Колумбы российских древностей». М., 1980.

**Трагическая история Димитрия (*ит.*)

«СТАРИНА ВСЕГО ЛЮБЕЗНЕЕ»

Первые четыре тома — «*вся сушь*»: это признание вырвалось в позднейшем письме к ближайшему другу Дмитриеву. И оно одно стоит целой главы мемуаров.

Сушь — далекие века, где документов так мало, а характеры так далеки, непонятны!

Еще несколько фраз из немногих откровенных писем: критический разбор источников — «тяжкая дань, приносимая достоверности»; нужны общие, ученые выводы, но «метафизика не годится для изображения действия и характера»; «знание, ученость, остроумие и глубокомыслие не заменяют таланта изображать действия».

И за это Карамзину позже не раз достанется: строгие ученые следующих десятилетий найдут наслаждение, одушевление, красоту как раз в самом скучном (по понятиям Карамзина) анализе, в самых сухих материях.

И они будут правы, следующие поколения историков, правы, но с двумя оговорками. Во-первых, они жили и работали после Карамзина и с него начинали даже тогда, когда совсем не соглашались с «Историей Государства Российского».

«Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались?» (Пушкин).

И второе примечание: серьезнейший ученый разбор — великое дело! Но если при этом забыта конечная, человеческая цель, если задача без сверхзадачи, тогда опасность засохнуть, утонуть в материале, потерять в конце концов научные ориентиры не меньшая (а пожалуй, большая!), чем опасность для историка-художника заболтаться, чересчур воспарить, оторваться от реальной почвы...

Карамзин-художник, смиряющий себя в историке; рука, тянущаяся «одушевить, раскрасить», — и внутренняя уверенность, что от него ждут не просто новой занятой повести или сентиментального вымысла...

Вся сушь требовала всех сил, чтобы затем приблизиться к своим, более понятным векам.

14 августа 1806 года историк мечтает зимою дойти до татарского нашествия: «Жаль, что я не моложе десятью годами. Едва ли бог даст мне довершить мой труд; так много еще впереди».

В этом же письме брату Карамзин не надеется на долгий мир в Европе, «хотя дела кабинета для нас тайна».

22 ноября 1806 года — родилась дочь Катерина (будущая Мещерская).

Осень 1806-го—1807-й — новая европейская война, разгром Пруссии Наполеоном, успех русских при Эйлау, затем — полное поражение при Фридланде, Гильзитский мир.

Карамзин — брату: «Солдаты и офицеры русские оказали военную храбрость, но Румянцевых и Суворовых нет»; работа же над Историей «не идет от беспокойства душевного»; он уж и не надеется дожить «до времен счастливых для Европы».

Летом 1807-го — умирает старый князь Вяземский, оставив зятю

800 душ, 35 000 долгу и заботы о двух несовершеннолетних детях. Бездна хозяйственных забот, снова — приступы лихорадки...

12 октября — родился сын Андрей («теперь у нас довольно малюток, более не желаем»).

1237—1240-е годы: нашествие Батые.

«Состояние России было самое плачевное: казалось, что огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных; что язва, землетрясение и все ужасы естественные вместе опустошили их, от берегов Оки до Сана. Летописцы наши, сетуя над развалинами отечества о гибели городов и большей части народа, прибавляют: „Батый как лютый зверь пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья Российские пали в битвах; другие скитались в землях чуждых; искали заступников между иноверными и не находили; славились прежде богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, пред их глазами растоптанных конями татарскими, а девы о своей невинности: сколь многие из них, желая спасти оную, бросались на острый нож или в глубокие реки! Жены боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные златыми монистами и одеждою шелковою¹³, всегда окруженные толпою слуг, сделались рабами варваров, носили воду для их жен, мололи жерновом и белые руки свои опалили над очагом, готовя пищу неверным... Живые завидовали спокойствию мертвых“¹⁴. Одним словом, Россия испытала тогда все бедствия, претерпенные Римскою империей от времен Феодосия Великого до седьмого века, когда северные дикие народы громили ее цветущие области¹⁴. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собою только в силе».

Даже эти горячие строки, писанные более художником, чем ученым, Карамзин, как видим, сопровождает двумя научными примечаниями (13 и 14): одно насчет шелковых одежд боярских жен, с подробными объяснениями и ссылками, что это не расхожий эпитет; что в самом деле были шелка. Историк-писатель знает свое дело; такое примечание умножает в глазах читателя достоверность и ненавязчиво напоминает об избранном жанре. Второе же примечание — честная отсылка к подобной же мысли английского историка Робертсона. Притом русский ученый, горящий о страшном несчастье, постигшем его родину в XIII веке, даже тут опасается изменить своему обычному широкому взгляду на вещи, высокой объективности: ведь ужас татарского бедствия он сравнивает с чем же? С набегами на Рим и Византию северных варваров, среди которых важнейшую роль играли древние славяне, прямые предки тех, кого в 1237—1240-х годах громит и грабит Батый!

Одним этим штрихом обнаруживается печальная «цикличность» исторических бедствий и одновременно глубокое проникновение автора в суть вещей: можно и должно любить свое отечество без одностороннего, шовинистического пафоса, в который так легко было впасть, описывая век Батые и «держа в уме» время Наполеона...

В следующих же строках Карамзин решительно оспаривает мнение Щербатова о «превосходстве монголов в ратном деле»: «Древние россияне, в течение многих веков воюя или с иноплемениками или с единоземцами, не уступали как в мужестве, так и в искусстве истреблять людей ни одному из тогдашних европейских народов. Но дружины князей и

города не хотели соединиться, действовали особенно и весьма естественным образом не могли устоять против полумиллиона Батыева».

Снова заметим, как, восхваляя храбрость древних и едков, Карамзин не дает увлечься перу и, написав «не уступали в мужестве», для равновесия, истины добавляет *снижающее* («и в искусстве истреблять людей»...

Главная же идея отрывка — разъединение, несобранность Руси; и мы уж угадываем, как, проходя по черным десятилетиям XIII—XIV веков, историк-писатель «выстрадал» необходимость для страны самодержавия — формы, по его мнению, жесткой, естественной и спасительной...

И вот уже пишутся знаменитые строки, о которых вспыхнут большие споры лет через десять: «Совершилось при моголах легко и тихо, чего не сделал ни Ярослав Великий, ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод III: во Владимире и везде, кроме Новгорода и Пскова, умолк вечевой колокол, глас вышнего народного законодательства, столь часто мятежный, но любезный потомству славянороссов.<...>Князья, смиренно пресмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными повелителями: ибо повелевали именем царя верховного».

Описывается конец древних свобод. Карамзин умом историческим, государственным о них не жалеет, но человечески, художественно не скрывает печали. Там, где десятки других ученых или публицистов высказали бы одно чувство — либо одобрение, либо неприятие, — он умеет представить сразу оба мотива. Ответ у его задачи при этом как будто не сходится, но историк этому обстоятельству определенно радуется, иначе не был бы он Карамзиным!

На *татарское нашествие* ушел весь 1807-й.

6 июля 1808-го — замечательное письмо брату из Остафьева, редкая главка — увы! — несуществующих карамзинских «мемуаров»: «В труде моем бреду шаг за шагом, и теперь, описав ужасное нашествие татар, перешел в четвертый-на-десять век. Хотелось бы мне до возвращения в Москву добраться до времен Димитрия, победителя Мамаева. Иду голою степью; но от времени до времени удаётся мне находить и места живописные. История не роман; ложь всегда может быть красива, а истина в простом своем одеянии нравится только некоторым умам открытым и зрелым. Если бог даст, то добрые россияне скажут спасибо или мне, или моему праху».

Вспомнив виды родного Симбирска, «уступающие в красоте немногим в Европе», историк напоминает: «Вы живете в древнем отечестве болгаров, народа довольно образованного и торгового, поработанного татарами. Близ Симбирска, в летние месяцы, ночевал иногда и славный Батый, завоеватель России.

Я теперь живу в прошедшем, и старина для меня всего любезнее».

Архив Карамзина таинственно исчез... К счастью, друзья, родственники, поклонники кое-что сохранили «захватом». В огромном «Остафьевском архиве» П. А. Вяземского, в бумагах историка Погодина попадают странички, а случается, и целые черновые главы «Истории...».

Хуже всего сохранились рукописи ранних томов. Поэтому первые мучения автора, поиски верного тона, движение от «красивой лжи» к «истине в простом своем одеянии» — все достается нам только конечным результатом. Изредка — в сопровождении авторской жалобы.

Карамзин призывает на помощь славные тени Геродота, Фукидида, Тита Ливия. То, что они описывали, полагает Карамзин, «для всякого не русского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей: ибо Греция и Рим были народными державами и просвещеннее России; однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей Истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение Новгорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время междоусарствия».

Легко заметить из приведенных строк, что былые тысячелетия, античные историки представлялись Карамзину куда более близкими, чем нам: не оттого, конечно, что от нас до Геродота 25 столетий, а от него — 23; историк недооценивает эволюцию, социально-политические различия, которые приносил каждый век; он больше сосредоточен на *сходстве!*

Мы же сегодня больше, чаще видим различие. Никогда бы наш современник не написал «Греция и Рим... просвещеннее России»: что значит *просвещение* в ту и эту эпоху? Как измерить «плюсы и минусы» античного рабства по сравнению с российским феодализмом? По-видимому, Карамзин находит, что важнейшее для него понятие *просвещение, просвещенный* не требует пояснений. Его древние греки мыслят о добродетели, злодействе, культуре, невежестве настолько сходно с его русскими, что, в конце концов, не так уж важно, какое «тысячелетье на дворе».

«Солнце, — пишет Карамзин в другом сочинении, — течет и ныне по тем же законам, по которым оно текло до явления Христа-спасителя, так и гражданское общество не переменяло своих коренных уставов».

Если это правда, если «коренные уставы» всегда одни и те же (разница только в уровне просвещения), то историку XIX века легко понять психологию, даже скрытые мотивы поведения и героев средневековья и древних греков, римлян...

Карамзин никогда не станет придумывать тех слов или событий, которых не видел в документах; однако, прочитав в летописи одну фразу, что византийская царица Анна не хотела идти за киевского князя Владимира «яко в полон», историк излагает затем дело так: «Анна ужаснулась: супружество с князем народа, по мнению греков, дикого и свирепого, казалось ей *жестоким пленом*». Как видим, сочинен целый «внутренний монолог» ужаснувшейся Анны; ученый, работающий в XX веке, был бы тут крайне осторожен: мало ли почему Анна не хотела ехать в Киев? Была ли в ее поступке именно такая логика? Можно ли в этом случае верить летописцу? Карамзин же рассудил, что если в 988 году психология в основном не отличалась от 1806-го, значит, Анна думала так, как на ее месте — княжна или царица из семьи Габсбургов, Бурбонов, Романовых...

Подобный взгляд на историю был принят тогда (с разными вариантами) во всех цивилизованных странах: приятный все же взгляд, сразу очень сближающий эпохи, объединяющий поколения! Ах, если б он был еще и верным...

Впрочем, не грех напомнить, что вся история человечества представлялась Карамзину и его современникам длиною в несколько тысяч лет: 4—5 тысяч от первых пирамид, «потопа»; возможно еще несколько тысячелетий допотопной истории. По церковному счету от сотворения мира

до начала карамзинской истории 7311 лет; если же просвещенный историограф не желает слишком буквально принимать эти числа, он может присоединиться к самой дерзкой концепции и дать человечеству еще 10—15 тысячелетий (по Бюффону, считавшему, что раскаленный земной шар мог остыть за 80 000 лет!).

Итак, небольшая, уютная история со сходными в основном цивилизациями.

Разумеется, Карамзин не наивный мальчик — он знает немало и о *разнице* эпох.

Вообще он уверен, что во все времена «суд истории — единственный для государей, кроме суда небесного, — не извиняет и самого счастливого злодейства». Но как доходит до дела, до разбора того или другого события, Карамзин очень часто «стихийно» судит *исторически*, забывая о «вечных категориях зла и добродетели». Так, многие убийства, «темные деяния» X—XIV веков он излагает почти беспристрастно, подразумевая — так было! Воскликая: «пороки не человека, но века!» О кровавой мести Ольги древлянам сказано так: «Не удивляемся жестокости Ольгиной: вера и самые гражданские законы язычников оправдывали месть неумолимую; а мы должны судить о героях истории по обычаям и нравам их времени».

Снова живые противоречия живой истории, честного историка.

О методе же своем напишет: «Не позволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках; искал духа жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближением частей».

По распространенному обычаю XIX, и не только XIX столетия историк здесь преувеличивает свою объективность. Да, нелегко признать, сколь многое в самом искреннем, правдивом рассказе обусловлено социально и лично; понять, что мысли историка, отысканной «единственно в памятниках», увы, вообще быть не может: он ведь всегда отбирает то, что ему интереснее, оставляя в стороне то, что полагает неважным... А ведь завтра, через столетие, другой честный историк (мы все время говорим только о субъективно-честных. Об иных знать не желаем) может счесть весьма любопытным именно то, что добросовестно отбросил предок.

К примеру, Карамзин не очень-то увлекается разбором экономических причин, хотя, конечно, о них не забывает. Не очень занимают его и многие формы народных волнений, бунтов: опять же не по злонамеренности, а по его искренним понятиям — что это не так уж важно!

Итак, отбор фактов, замена недостающих сведений наиболее вероятными предположениями, наконец, истолкование, оценка событий, явлений, людей: как трудно (да и невозможно) не быть при этом человеком XIX столетия! Как легко создать предка по своему образу и подобию, но как тяжело измерить его понятиями и правилами XI или XV столетия: «Тем непозволительнее историку, для выгод его дарований, обманывать добросовестных читателей, мыслить и говорить за героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? Порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство; откры-

вать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного, чтобы Искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом».

Ах, еще раз вздохнем мы по-карамзински, сколько раз дурной историк совершал «алхимический подвиг», превращая золото в медь; но тот, кто в самом деле сумел очистить древнюю, настоящую медь от некоторых примесей, — разве не *примешивает* еще и от себя? Примешивает чисто-сердечно; не замечает — но примешивает... Разумеется, наука, строгая критика отчасти предохраняют от бед — историк-художник это знает, но считает долгом извиниться (во введении к своему труду): «Множество сделанных мною примечаний и выписок устрашает меня самого. Счастливы древние: они не ведали сего мелочного труда, в коем теряется половина времени, скучает ум, вянет воображение: тягостная жертва, приносимая *достоверности*, однако же необходимая! Если бы все материалы были у нас собраны, изданы, очищены критикою, то мне оставалось бы единственно ссылаться; но когда большая часть их в рукописях, в темноте; когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено — надобно вооружиться терпением. В воле читателя заглядывать в сию пеструю смесь, которая служит иногда свидетельством, иногда объяснением или дополнением».

Таков Карамзин, который уверен, что «мыслил и писал об *Игорях, о Всеволодах как современник*, смотря на них в тусклое зеркало древней летописи с неутомимым вниманием, с искренним почтением; и если вместо живых, целых образов представлял единственно *тени, в отрывках*, то не моя вина: я не мог дополнять летопись!»

Мы же, согласившись, что он *хотел* писать как современник древних князей, уверенно находим в его трудах десятки доказательств, что он — современник Александра, Наполеона, Отечественной войны, декабристов...

Старина для меня всего любезнее...

Но —

22 августа 1808-го брату: «В Европе нет ни малейшей надежды и никакого следа к миру. <...> Чем все кончится, известно одному богу: и сам Бонапарт не знает того».

18 декабря (под впечатлением переворота в Стамбуле и занятия Мадрида наполеоновской армией): «Ведь не хорошо, по крайней мере хуже прежнего, или так мне кажется».

25 января 1809-го: «Волгу легко запрудить в Тверской губернии, а в Симбирской уже трудно. Чего хочет Провидение, не знаю, но если великий Наполеон поживет еще лет десять или более, то будет много чудес».

21 июля 1809-го: «Я по обыкновению работаю и кончил описание времен Дмитрия Донского; но теперь должен еще многое поправить позади. <...> Счастье не оставляет Бонапарту. Теперь уже последняя война, как он говорит. Надобно верить Провидению, иначе трудно успокоить себя...»

Позже запишет: «Клио любит шум битв только в воспоминаниях».

15 августа: «Часто хотелось бы мне укрыться в непроницаемом уединении, чтобы ничего не слышать о происшествиях европейских. Как счастливы были наши отцы! <...> Но добродетели стойков не весьма легче для того, кто имеет семейства».

К тому же историк болеет, болеет. В Москве, по словам Жуковского, «считают его в это время воротившимся из царства мертвых».

Есть, однако, еще силы — и работать, и радоваться находке замечательнейшей *Волынской* (Ипатьевской) летописи, после которой многое прежде написанное надо поправить, переиначить: «Я не спал несколько ночей от радости.<...> Она спасла [меня] от стыда, но стоила шести месяцев работы...»

Так и чередуются в хронике жизни Карамзина дела домашние и всемирные: рождение детей, смерть стариков, собственные болезни — и страсти давно угасшие; Батый и Мюрат, Куликово поле и Тильзит, Александр Ярославич и Александр Павлович.

Царь Александр и его историограф впервые, кажется, встречаются в Москве в декабре 1809-го — «государь изволил сказать несколько приветливых слов» (Карамзин — брату).

Затем неожиданное приглашение в Тверь, к любимой сестре царя Екатерине Павловне; туда ожидают и Александра...

Ежегодные 2000 рублей ассигнациями, жалование историографа: для большой дворянской семьи, по тем временам, не так уж много (цены перед 1812-м растут непрерывно). Одна квартира съедала почти все — думали купить дом, но доходов не хватило: собственная деревенька близ Нижнего Новгорода в краях болдинско-горюхинских платит неисправно, голодает...

Жалование от царя, однако, обязывало: Карамзин постоянно озабочен, что там, в Петербурге, возможно, думают, будто зря деньги переводят — ведь результатов не видно, а выдавать в печать уже сделанное автор упрямо не желает; он сам почувствует, когда — пора...

Поэтому незадолго до знакомства с царем историограф гордо, даже немного надменно отчитывается новому статс-секретарю Н.Н.Новосильцеву (старый друг-ходатай М. Н. Муравьев недавно скончался).

«Милостивый государь Николай Николаевич!

... Более четырех лет непрерывно занимаюсь сочинением Российской Истории и всеми нужными для того разысканиями... Прилежное чтение и соображение древних историков и географов от Геродота до Аммиана Марцеллина доставили мне способ представить ясно все те сведения, какие греки и римляне имели о странах и народах, составляющих ныне Российскую державу. Готский историк VI века Иорнанд, византийские и другие летописцы средних времен служили для меня источником в описании древностей славянских.

Сии две части труда моего составили первый том или вступление. Во втором томе, изобразив древнее состояние России по сказаниям нашего летописца, бессмертного Нестора, начинаю историю государства Российского, описывая не только войны, но и все гражданские учреждения, законодательство, часто весьма мудрое, наших предков, нравы, обыкновения, кои образуют характер народов на целые века. Главный предмет мой есть строгая историческая истина, основательность, ясность, однако ж стараюсь также писать слогом не слабым...

Смею утвердительно сказать, что я мог объяснить, не прибегая к догадкам и вымыслам, многое темное и притом достойное любопытства в нашей истории.

Теперь я заключил IV том описанием нашествия Батыева и надеюсь,

с помощью Божиею, года через три или четыре, дойти до времен, когда воцарился у нас знаменитый дом Романовых. Тогда осмелюсь повергнуть плоды трудов моих к стопам Его императорского величества и буду ожидать высочайшего повеления для обнародования сей истории. А если и прежде сего времени буду в Санкт-Петербурге, то, надеюсь, что Вы, милостивый государь, позволите мне представить на Ваш суд мое сочинение, которое важно, по крайней мере, своим предметом и долговременным, не совсем обыкновенным трудом сочинителя, особенно в наше время, богатое только шумихою и скороспелками легких умов».

Отчет профессионала, достойный, без всякой лести и дерзости.

Когда Карамзину сообщали о его чинах, орденах, полагавшихся за выслугу (историограф на службе), он сердился, что награда сковывает свободу и *обязывает* пред награждающими, может статься, за счет обязанности пред Истиной.

Но разве официальный историограф, работающий, чтобы представить Историю своему монарху, — разве это само по себе не определяет верно-подданного направления? Разве иначе открылись бы ему архивы? Об этом, понятно, еще не раз речь пойдет. Пока же отметим главное: Карамзин писал то, что в *самом деле* думал. В письме к Новосильцеву каждой строкой обозначено: пишу о России, князьях, народе — не с целью угодить, но ради строгой исторической истины, как я ее вижу.

Историограф надеется, что его взгляд на прошлое и настоящее совпадает с принципами просвещенного монарха; перед ним почти нет того нелегкого выбора, который мучил многих историков разных веков и народов: как не разгневать высочайшего заказчика и притом не оттолкнуть критически настроенного читателя...

Иногда подобное раздвоение принимало необыкновенные формы. Прокопий Кесарийский в VI веке написал и преподнес византийскому императору Юстиниану верноподданническое славословие его делам; одновременно же составил «Тайную историю», где изобразил разнообразные мерзости и преступления своих повелителей... Судьбе было угодно, чтобы к нам дошли обе книги (правда, в последнее время появилась гипотеза, будто и в первой, легальной истории Прокопий, доведя лесть до абсурда, тоже своеобразно высмеивал царей).

В роли Прокопия, всего за 20 лет до Карамзина, выступил тогдашний историограф князь М. М. Щербатов: официальная его «История России...» не содержала сколько-нибудь заметной «оппозиции», острые углы — если встречаются — обойдены. Обращения историка к царице Екатерине II достаточно лояльны и по форме, и по сути... Но в то же самое время Щербатов составлял и ряд трудов (важнейший из них — мемуарный памфлет «О повреждении нравов в России»), где взгляд на Екатерину и ее двор — беспощадно-презрительный, а сверх того, лично задето еще не менее восьми царствующих особ...

Карамзин был счастливее Прокопия и Щербатова, ибо не *раздваивался*.

Он не революционер, но кто же был в России революционером в первые годы XIX века, когда вышло столько послаблений? Радищева уж нет, завтрашние же декабристы либо еще носят короткие штанишки,

либо — кто постарше — ходят на Бонапарта и отнюдь не предчувствуют 1825 года.

Карамзин же, постоянно размышляя над судьбами мира и России (в 1790 в Париже, в 1793 «под черными облаками», и после — когда хотел все бросить, уехать, и теперь — когда нашел смысл бытия), Карамзин приходит к мыслям скорее умеренным, консервативным — об опасности преждевременных взрывов и мятежей, о необходимой осторожности в ломке... Здесь он порою выступает как будто умереннее самого царя, так как из Петербурга доносятся известия об огромном влиянии статс-секретаря М. М. Сперанского, о его проекте коренной перестройки России (план конституции, постепенного освобождения крестьян). *Умереннее, консервативнее* царя: еще немного и, кажется, легко произнесем уничтожающее — ретроград, обскурант, реакционер... Но разве можно сказать нечто подобное о Карамзине? Разве допустит Голенищев-Кутузов, который вот что пишет о нем:

«Нужно, необходимо замаскировать [его] как человека вредного обществу и коего писания тем опаснее, что под видом приятности преисполнены безбожия, материализма и самых пагубных и возмутительных правил; да беспрестанные его публичные толки везде обнаруживают его яко якобинца».

Попечитель Московского университета Павел Иванович Голенищев-Кутузов — человек важный, влиятельный; доносит же еще более важному лицу, министру народного просвещения Разумовскому; еще не раз и не два напишет о «неистовстве модных слезливых писателей, русских якобинцев», сообщит, как один дворянин забрал детей из *Института*, сказав, что «там моровая язва... там сочинения Карамзина более уважают, нежели Библию, и по оным учат детей грамоте».

Карамзин узнал про доносы и не изменил себе: «Мшчения не люблю, довольствуюсь презрением, и то невольным».

Но все же неприятности были бы обширные, если б не влиятельные друзья (Иван Иванович Дмитриев теперь министр юстиции!).

Нелегко, очень нелегко определить «социально-политическое» место историографа: пишет историю по царскому заказу и обвиняется в безбожии и якобинстве; весьма насторожен, почти предубежден против готовящихся крупных реформ, но столь горд, независим, что в этом уже — оппозиция, вольность...

Всегда искренний, он, разумеется, понимает, что некоторые материи нельзя даже упоминать, но как раз наиболее запретные сумел вдруг представить самому царю...

ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ РОССИЯ

«Жалею, что не имею права похвастаться пред тобою своею философическою умеренностью! Не многие отказываются, от чего я отказался».

Писано другу-министру Дмитриеву 11 февраля 1811 года после очередной поездки в Тверь.

Это особая любопытнейшая глава карамзинской биографии, лежащая несколько в стороне от нашего повествования, но нельзя обойти.

Великая княгиня Екатерина Павловна приглашает один раз, другой, третий: Карамзин ездит с женою, объяснив сестре царя, что они «дали

друг другу слово не расставаться, пока живы». Однажды приезжают царь, великий князь Константин. Просят читать. Историограф открывает тома о татарском нашествии, Дмитриии Донском. Читает час, другой — просят еще... Одно из чтений продолжается далеко за полночь. Слушают хорошо — Константин с солдатской прямоотой после признается, что из всей российской истории теперь только и знает услышанное от Карамзина...

Царь — о своем.

Сардинский посол и знаменитый публицист граф Жозеф де Местр записал незадолго перед тем об Александре: «К несчастью, его подданные гораздо охотнее порицают его, чем раскрывают ему глаза».

По-видимому, это отзвук беседы посла с царем. Александр жаловался. Колеблющийся между парадом и просвещением, между самодержавием и конституцией, между союзниками вчерашними (Англия, Австрия, Пруссия) и новым *другом* Наполеоном; никогда не забывающий, какую ценою 12 марта 1801 года он получил трон, до конца никому не доверяющий, никогда почти не улыбающийся, — император мечтает о верных друзьях...

Царь почувствовал стиль, тон историка — его вежливую независимость и бескорыстие. Особенно после того, как по заказу царской сестры Карамзин пишет совершенно особое сочинение, ради которого пришлось отложить XIV и XV века. «Записка о древней и новой России», несколько десятков листов, — взгляд историка древности на *все*, вплоть до сегодняшнего дня. Один из первых, разумеется, секретнейших курсов российской истории и политики от IX до XIX века, причем более всего — о последнем столетии, начиная с Петра Великого...

То есть о том времени, куда Карамзин не чает дойти в своей Истории, но в котором живет; которое в нем и через него все время «проецируется» на рассказы о Батые, Калите.

Взгляд прямой, резкий, откровенный.

Эпиграф: «Несть лъсти в языке моем» — *нет лести...*

Петр «нашел средство делать великое.<...>Оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?»

Главное обвинение историка: в XVIII веке нарушены некоторые важные, естественные пути, которыми прежде шел народ, двигалась русская история; речь идет о «повреждении нравов» в России (хотя шербаатовско-го потаенного памфлета историк, по-видимому, не знал).

«Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виню Петра».

В допетровские времена «от сохи до престола россияне сходились между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях, — со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний...

Однако ж должно согласиться, что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские».

Историк вспоминает также многое как бы хорошо известное, но никогда *не произносившееся*: что при Петре «Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного»; что при Екатерине II

«нравы более развратились в палатах и хижинах, — там от примеров двора любострастного, — здесь от выгодного для казны умножения питейных домов. Пример Анны и Елисаветы извиняет ли Екатерину? Богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственно лицо красивое? Слабость тайная есть только слабость; явная — порок, ибо соблазняет других. Самое достоинство государя не терпит, когда он нарушает устав благонравия: как люди ни развратны, но внутренне не могут уважать развратных». Впрочем, здесь Карамзин уже почти мемуарист — он ведь своими глазами видел, как «сыновья бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения французской или английской наружности. У нас были Академия, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархия — не было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни».

Все это для Карамзина не просто дурные или хорошие поступки, но «вредные следствия петровской системы», которые «яснее открылись при сей государыне [Екатерине II]».

Затем на страницах «Записки» — «вредное царствование Павла», пресеченное «способом вредным».

Наконец, современность, александровское правление. Записка историческая становится все более политической.

«Чего хочу? С добрым намерением — испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет История».

Историк все время ссылается на историю, на времена своих первых томов, но что же он советует царю, опираясь на опыт столетий?

Не торопиться с конституционными реформами: «самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для ее счастья».

Не торопиться с отменой крепостного права: «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, — ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным; а система наших винных откупов и страшные успехи пьянства служат ли к тому спасительным приготовлением? В заключение скажем доброму монарху: „Государь! История не упрекает тебя злом, которое прежде тебя существовало (положим, что неволя крестьян и есть решительное зло), но ты будешь ответственать богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных уставов“».

Карамзин не за освобождение крепостных, но за открытие школ: сначала просвещение, потом свобода.

Если же крестьяне все-таки вскоре получают свободу, то «сии земельцы не будут иметь земли, которая — в чем не может быть и спора — есть собственность дворянская».

Мы, в XX веке еще можем спокойно, исторически судить, а декабристы (они выступят на сцену всего через несколько лет), если бы они прочитали эти строки, то нашли бы крепкие слова в адрес их автора: *невежда, гасиль-*

ник, враг человечества или что-либо в этом роде. Ведь фраза в скобках («положим, что неволя... решительное зло») намекает, что еще и неизвестно, такое ли это зло — крепостное право? Но почему же «не может быть спора», *чья земля*, если крестьяне ее обрабатывали веками под властью помещиков и тысячелетиями — до всяких помещиков?

И как не заметить, что «страшные успехи пьянства» — вовсе не довод за сохранение рабства, а наоборот; что множество недостатков русской жизни как раз *следствие рабства*, неестественной жизни миллионной людей: Карамзин же сам, на соседних страницах, дает резкую, правдивую критику разных российских неурядиц — и тут уж говорит смело, рискованно о «главных действиях нынешнего правительства и неудачах»: «Если прибавить к сему частные ошибки министров в мерах государственного блага: постановления о соли, о суконных фабриках, о прогоне скота, имевшие столь много вредных следствий, — всеобщее бесстрашие, основанное на мнении о кротости государя, равнодушие местных начальников ко всяким злоупотреблениям, грабеж в судах, наглое взяточничество капитан-исправников, председателей палатских, вице-губернаторов, а всего более самих губернаторов — наконец, беспокойные виды будущего, внешние опасности — то удивительно ли, что общее мнение столь не благоприятствует правительству?»

Внешние опасности — особенно болезненный для царя мотив: «Надлежало забыть Европу, проигранную нами в Аустерлице и Фридрихсвальде, надлежало думать единственно о России, чтобы сохранить ее внутреннее благосостояние, т. е. не принимать мира, кроме честного, без всякого обязательства расторгнуть выгодные для нас торговые связи с Англией и воевать со Швецией, в противность святейшим уставам человечества и народным. Без стыда могли бы мы отказать от Европы, но без стыда не могли служить в ней орудием наполеоновым, обещав избавить Европу от его насилий».

Это открытое порицание союза с Бонапартом, всей внешней политики после Тильзитского мира.

Собственно говоря, один из доводов историка против коренных реформ (не единственный, но важный) — что *Бонапарт у ворот*, и нельзя при этих обстоятельствах менять систему (намек на Сперанского).

Тут, конечно, был свой резон, но мы вовсе не собираемся «защищать» историографа только потому, что он наш герой.

Нелегко разглядывать прошедшее: вот — писатель, ученый, которого, кажется, хорошо понимаем, чувствуем. Он говорит, думает умно, нравственно, нам созвучно; только к нему привыкли — глядь, а он своевольничает: он *вдруг* такой крепостник и консерватор, что нам обидно. Мы не ожидали, мы не понимаем, как согласуется любезное нам высокое благородство с такими «отсталыми понятиями»?

Согласуется.

Во-первых, во всем искренность. Историк продолжает говорить и писать, что думает. Во-вторых, мы видим, как острейшая критика «слева» переходит *направо* и обратно.

Царя призывают не ослаблять свою власть, не торопиться с конституцией, но развивать просвещение в самом широком смысле этого слова — в рамках господствующей, *естественной* (по Карамзину) системы. Довод за естественность, в сущности, один, но сильный: система сущест-

вует уже много веков и, стало быть, соответствует духу, уровню страны, народа. В один день — не переменить; нужна длительная просветительская, нравственная подготовка...

Карамзин был не один: он выступал от имени многих дворян, опасавшихся «сперанских реформ»; его поддерживала царская сестра.

Им, как известно, удалось остановить «план государственных преобразований», свалить Сперанского. Вопрос о самодержавии, крепостном праве откладывался на неопределенное время...

Разумеется, мы не можем уверенно сказать, что было бы, если бы Сперанский взял тогда верх. Однако имеем право предполагать, что для страны это было бы *хорошо*; что глубоко продуманный, тщательно разработанный план мог на много десятилетий ускорить российский прогресс; что серьезные реформы уже назрели и были бы *естественными*...

«Вижу опасность, но еще не вижу гибели», — восклицает Карамзин. И — не прав; не слышит *голоса истории*, старается даже его заглушить.

Но он прав в том, что не столько сверху, реформами, законами движется страна, сколько снизу — естественным развитием, исторически сложившейся традицией, успехами просвещения.

Сам Карамзин, его книги, его История были ведь частью этого просвещения, ответом на понятую потребность. Расхождение со Сперанским было в общем одно, но существенное: в сроках. «*Уже пора!*» — полагали реформисты. «*Еще рано, сначала просветимся!*» — возражает Карамзин и предостерегает царя.

Критика «справа»: но разве царя вообще мыслимо критиковать? Нельзя ведь даже обращаться с вопросом без особого дозволения. Поэтому любая критика сама по себе — в некотором смысле *подрыв основ*.

Впрочем, Карамзин часто повторял и, наверное, даже при царе напомнил: «Екатерина II любила, чтобы с ней говорили вольно».

Александр I, действительно, сначала рассердился, попрощался холодно. Карамзин же отнесся к этому «философически» — как и тогда, когда узнал, что Александр успокоился, вернее, успокоен сестрой...

Позже открылось, что царь уже в это время сам начинал побаиваться, не доверял Сперанскому — и слова Карамзина о преждевременности реформ *отозвались*...

Аракчеевы радовались.

А ведь историк не хотел аракчеевских темных сил (Дмитриева завяет: «Я не фанатик и не плут»). Он хотел просвещенного самодержавия, как лучшей формы в данное время (но не вообще: о том, какого будущего желал историк своей стране, еще скажем. Это очень любопытный сюжет). Царю тоже теперь кажется, что удастся и самодержавие соблюсти и просвещение приобрести.

Иллюзия историка, иллюзия (или самообольщение) монарха вдруг совпадают. И царь, может быть, открывает в тверском собеседнике маркиза Позу, того подданного, который не «порицает», но открывает глаза...

Карамзина дважды приглашают в Петербург, намекают на министерские должности.

Казалось бы, можно ли устоять, если веришь в эту систему, знаешь, как ей лучше развиваться? Вот случай — провести теорию в практику,

«Записку» в политику; вот соблазн: поэт, писатель, историк, «диктующий» царю!

Соблазн, который не в XIX веке родился и не в том веке умрет...

Карамзин дважды вежливо отказывается: семья — еще одна дочь рождается и умирает, дети болеют, приходится ехать в Нижегородское имение для защиты своих крестьян от местных властей («дела важного не сделал, а себе повредил»), одолевают исторические занятия, глаза слепнут.

Нет времени и сил.

Однако царь предлагает и нечто необычайное — дружбу.

Когда Карамзину жалуют Владимира 3-й степени, он объясняет Дмитриеву: «Некогда сказал я тебе в шутку, что не буду носить никаких орденов, если бы мне и дали их: теперь беру эти слова назад. Памятники дружества священы».

Царская дружба. Когда Сперанский в начале 1812-го свергнут, сослан, историку едва не сделано третье, *настоящее* предложение: Александр советуется с Дмитриевым, «можно ли употребить Карамзина к письмоводству?»; решается вопрос о назначении его государственным секретарем или министром просвещения.

Карамзин: «Если бы мне предложили это место, я бы его взял, потому что отказываться было невозможно в тогдашних обстоятельствах! Я, разумеется, стал бы действовать энергически».

Историку *повезло*: придворные внимательно следили за новым «фаворитом»; доносы Голенищева-Кутузова тоже не остались без употребления... И царь дал себя отговорить: Карамзин-де не имеет государственного опыта; к тому же полного царского доверия еще не было. Историограф слишком своеобразен и независим.

Государственным секретарем назначен литературный противник историка адмирал Шишков.

Карамзин: «Видно, Провидению угодно было, чтоб все наши действия в ту эпоху были слабы и ничтожны и чтобы мы спаслись только его силою».

Екатерина Павловна хочет «возместить ущерб» и сделать Карамзина тверским губернатором. Тот отшучивается. «Или буду худым губернатором или худым историком».

Историк сохранил себя. Устоял перед двором; не себя к ним, но их к себе приновил. Великий князь Константин однажды берется прямо передать письмо Карамзина к Дмитриеву. Историограф вежливо, но твердо: «На это есть почта». У него рождается дочь, великая княгиня Екатерина Павловна предлагает себя заочно в крестные матери. Честь очень велика, сотни лучших семейств не смели бы и мечтать! Однако Карамзин вежливо отклоняет: «Заочные крестины — только церемония для света».

Члены царской фамилии хотят дружить, но историограф пишет: «Пусть другие забываются!» Никакой фамильярности; дистанция гарантирует большее почтение с обеих сторон. Узнав о честолюбии известного своей бездарностью графа Хвостова, Карамзин небрежно замечает: «Как счастливы люди, кои умеют быть столь суетными в 50 лет!»

Позднее Екатерина Павловна удалится за границу, царь же больше

предлагать не станет; и Карамзину еще придется не раз задуматься, как это все отразится на судьбе его труда? Так или иначе, он извещает Дмитриева, что возвращается «от настоящего к давно минувшему, от шумной сущности к безмолвным теням, которые некогда так же на земле шумели».

«ВРЕМЯ ЛЕТИТ, ИСТОРИЯ МОЯ ПОЛЗЕТ»

19 сентября 1810 года — брату: «В нынешний год я почти совсем не продвинулся вперед, описав только княжение Василия Дмитриевича, сына Донского. <...> Труд столь необъятный требует спокойствия и здравия. <...> Жаль, если бог не даст мне совершить начатого к чести и пользе общества. Оставив за собою дичь и пустыни, вижу впереди прекрасное и великое. Боюсь, чтобы я, как второй Моисей, не умер прежде, нежели войду туда. Княжение двух Иванов Васильевичей и следующие времена наградили бы меня за скудость прежней материи».

21 апреля 1811-го сообщает друзьям, что уже перешел во вторую половину XV столетия, «спешно оканчивает» Василия Темного: «тут начинается действительная история Российской монархии, впереди много прекрасного».

11 мая. «Работаю изрядно...»

Конец мая. Только уселся за работу, великая княгиня зовет в Тверь — знакомиться с отцом мужа, герцогом Ольденбургским, недавно изгнанным из своих владений Наполеоном.

1 июля — брату: «Старость приближается и глаза тупеют. Худо, если года в три не дойду до Романовых! Тут бы мог я и остановиться».

9 августа — Дмитриеву: «Работаю усердно и готовлюсь описывать времена Ивана Васильевича (Ивана III). Вот прямо исторический предмет! Доселе я только хитрил и мудрил, выпутываясь из трудностей. Вижу за собою песчаную степь африканскую, а пред собою величественные дубравы, красивые луга, богатые поля и пр. Но бедный Моисей не вошел в обетованную землю!»

Итак, XIII, XIV века — «песчаная степь», потому что нелегко *одушевить*. Историк должен при этом в самом себе усмирять летописца, и тут мы (далеко не в последний раз) вспомним замечательное пушкинское определение, сделанное через четверть века: «Карамзин есть наш первый историк и последний летописец».

«Повесть временных лет» сообщает (под 1111 г.), что русское войско в трудной битве разгромило половцев *с помощью ангелов небесных*.

Как это подать в XIX столетии? Просто пересказать текст — наивно, ненаучно, пристало ли просвещенному ученому, пусть и верующему, сообщать читателям, что ангелы 26 марта 1111 года были союзниками князей Святополка Изяславича и Владимира Мономаха? Смеяться же над древним суеверием — неисторично да и опасно (Голенищев-Кутузов уж непременно донесет!). Можно, конечно, и пропустить несущественную подробность, но тут уж возмущается историк-художник.

Выход найден простой, изящный: «Битва, самая отчаянная и кровопролитная, доказала превосходство россиян в искусстве воинском. Мономах сражался как истинный герой и быстрым движением своих полков

сломил неприятеля. Летописец говорит, что ангел свыше карал половцев, и что головы их, невидимую рукою ссекаемые, летели на землю: бог всегда невидимо помогает храбрым».

Рассказ же о бурях и смутах XV века в пятом томе «Истории...» заканчивается поэтическим отступлением о русских песнях и языке: «Еще не время было для россиян дать языку ту силу, гибкость, приятность, тонкость, которые соединяются с высшими успехами разума в мирном благоденствии гражданских обществ, с богатством мыслей и знаний, с образованием вкуса или чувства изящности; по крайней мере, видим, что предки наши трудились над яснейшим выражением своих мыслей, смягчали грубые звуки слов, наблюдали в их течении какую-то плавность. Наконец, не ослепляясь народным самолюбием, скажем, что россияне сих веков в сравнении с другими европейцами могли по справедливости казаться невеждами; однако же не утратили всех признаков гражданского образования и доказали, сколь оно *живуще* под самыми сильными ударами варварства!»

Человек, преодолев жестокою болезнью, уверяется в деятельности своих жизненных сил и тем более надеется на долготлетие: Россия, угнетенная, подавленная всякими бедствиями, уцелела и восстала в новом величии, так что История едва ли представляет нам два примера в сем роде. Веря Провидению, можем ласкать себя мыслию, что оно назначило России быть долговечною».

Нужно ли доказывать, сколько здесь самого Карамзина — с его новым языком; сколько мыслей о древней и новой России, сколько предчувствия грядущих суровейших испытаний...

Но что за манера исторического письма? В таком ключе лучшие историки Европы не часто пишут: «сказочки», «живопись», — но где же наука?

Первый историк и последний летописец...

В 1829 году Николай Полевой, критик дерзкий и дельный, рассуждая о покойном историографе, не числит его «между знаменитыми историками новейшими: Нибуром, Тьерри, Гизо, Барантом и др. Карамзин не выдерживает сравнения и с великими историками прошедшего века: Робертсоном, Юмом, Гиббоном, ибо, имея все их недостатки, он не выкупает их тем обширным взглядом, тою глубокою изыскательностью причин и следствий, какие видим в бессмертных творениях трех английских историков прошедшего века. Карамзин так же далек от них по всему, как далека в умственной зрелости и деятельности просвещения Россия от Англии».

Критик заметил также и «ошибку явную», когда «Карамзин назвал первые пять веков Истории русского народа маловажными для разума, небогатыми ни мыслями для прагматика, ни красотою для живописца!»

Все это, по мнению Полевого, произошло оттого, что Карамзин не искал в истории глубоких причин, корней, закономерностей, которые сделали бы «африканскую пустыню» IX—XIV веков куда более *плодородной*; критик даже предостерегает: «Красноречие Карамзина очаровательно. Вы верите ему, читая его, и убеждаетесь неизъяснимою силою слова. Карамзин очень хорошо знал это и пользовался своим преимуществом, иногда жертвуя даже простотою, верностью изображения».

Итак, Карамзин — последний летописец в эпоху, когда летописи

давно отжили. Но разве он сам не знал, не замечал, что западные коллеги пишут иначе и все более отрицают «летописную манеру»?

Прочитируем несколько очень редких и тем особенно ценных признаний историка на этот счет.

Прочитав присланную А. И. Тургеневым книгу немца Вальмана (где критиковался швейцарский историк XVIII века Мюллер — примерно за то же, что «ставят в строку» самому Карамзину), русский историограф, столь несклонный к дискуссиям и полемике, вдруг высказывается резко (благо, оппонент никогда не узнает): «Кроме злобы, что за пустая метафизика! Все учат, как писать историю, а много ли хороших историй? Мюллер, без сомнения, дельно вооружался против метафизического бреда там, где надлежит изображать действия и характеры. Мюллер был историк, и притом один из лучших, а Вальман — умный враль и притом черного разбора».

Лишь бы философствовать за счет действий и характеров, лишь бы умствовать ценою живости изложения — этого Карамзин не примет никогда. Его взгляд на историографию страдан, продуман — иначе не появились бы в письме к Тургеневу столь редкостные в его лексиконе слова «злоба, враль, метафизический бред». Годом позже другой молодой приятель С. С. Уваров присылает Карамзину новую книгу известного венского профессора Шлегеля. И снова — резкие оценки: «Не излишне ли гоняется за призраком новых мыслей? Вторые причины ставит он иногда на место первых и держится исторического мистицизма...»

Исторический мистицизм — поиски таинственных, неявных причин, управляющих историей... Сам Карамзин тоже не раз толкует о провидении, но не берется угадывать все его пути и лишь создает героев по своему *здравому смыслу*. Это дает прекрасные художественные результаты, но не за счет ли науки, за счет любезного ученым читателям вопроса — *почему?*

Умный, образованный митрополит Евгений (Болховитинов) тонко заметит в одном из писем разницу между Шишковым и Карамзиным: «...один хочет еще составить правила, а другой давно уже написал образцы почти классические. Не риторы, а ораторы пленяют читателей».

Меж тем «оратор» находится в одном из самых интересных мест своего путешествия по времени: конец XV века, Иоанн III (1462—1505), заслуги которого просты и огромны: покончил с татарским игмом, объединил Русь. Притом великий князь, хоть и «не отличался чувствительностью», однако не проливал напрасной крови, как его внук Иван Грозный. Притом — начал сблизиться с Европой, изумленной неожиданным величием прежде «незаметного», подавленного государства: «Не знаю монарха достойнейшего жить и сиять в ее святилище. Лучи его славы падают на колыбель Петра». Понять нетрудно: Иоанн III, по Карамзину, лучше Петра!

Главный герой «Истории Государства Российского» — сильный, разумный, спокойный, склоняющийся к просвещению самодержец.

Но он уничтожил Новгородскую республику, а его сын — Псковскую; объединение угрожало деспотизмом...

Слухи о том, что Карамзин видит в самодержавии «палладиум России», что выше всех возносит того монарха, который снял новгородский вечевой колокол, покончил с остатками древних вольностей ради торже-

ства неограниченной власти, — эти слухи обгоняли еще нескорую публикацию «Истории Государства Российского», и некоторые свободолюбцы насторожились, заранее готовые вступить за вольность.

Вот что слышали приглашенные к домашнему чтению Истории (и что спустя несколько лет увидят напечатанным): Иоанн III — «Колосс Российский»; «Иоанны III творят, Василии III сохраняют и удерживают, Иоанно IV прославляют и нередко губят».

Но притом — «Московитяне изъявляли остервенение неописанное: новгородцы-изменники казались им хуже татар. Не было пощады ни бедным земледельцам, ни женщинам».

На чьей стороне автор этих строк?

Или вот Василий III, сын объединителя Иоанна, идет на Псков. Летописец, на которого опирается Карамзин, явно сочувствует слабейшим, но историк дает ему право говорить «от своего имени»: «На улицах, в домах раздавалось стенание: все обнимали друг друга как в последний час жизни». «Столь велика, — комментирует Карамзин, — любовь граждан к древним уставам свободы».

К тому же он сравнивает Новгород, Псков с Афинами, Спартою, Швейцарией... «Сердцу человеческому свойственно доброжелательствовать республикам, основанным на коренных правах вольности, ему любезной».

Итак, историк славит Ивана III, Василия III, самодержавие — и не скрывает сочувствия Новгороду, Пскову, «любезной вольности».

Несколько поколений ученых излагали потом все эти события примерно так же: объединение Руси — великое прогрессивное дело, Москва исторически права, подавляя вольности северо-западных городов... Но в научном, строгом изложении правота Ивана III и Василия III в лучшем случае осложнялась двумя-тремя фразами «в пользу» подавленных вольностей... Или, наоборот, освободительная, декабристская к примеру, публицистика отдавала столь явное предпочтение республике, свободе, вече, что утрачивался смысл, историческая необходимость единой Руси...

Карамзин же, обладая даром и ученого, и художника, дает полную волю обоим своим талантам, устраивает «поединок» двух начал — государственного и человеческого, исторического и художественного. Пусть читатель не торопится с выводом, будто в шестом и следующих томах «Истории...» государственная необходимость полностью победила, и тема исчерпана. Нет! Идеал свободы, нравственная сторона никогда не отменяются... Только так, постоянно «сочувствуя» обеим сторонам, можно добиться высокой степени объективности; «чем субъективнее — тем объективнее». Разум историка должен постоянно оспариваться живым чувством и наоборот, иначе обманешься.

Итак, «метафизика», сложное философское введение, постоянное изъяснение причин и следствий отмечаются Карамзиным сознательно. Он не боится быть *Последним летописцем*, будто угадывая, с каким уважением Пушкин напишет эти слова...

Его *отсталый* метод, как позже выяснится, имеет такие сильные стороны, которые утрачены даже многими из лучших мастеров... Но

об этом еще будет сказано в следующих главах. Пока же, не восхваляя и не принижая карамзинской манеры, еще раз подчеркнем, что она не *наивная*, но глубоко осознанная, выбранная из многих других хорошо известных автору манер. Сам историк считал себя в разных отношениях учеником Фукидида, Тацита, а из новейших предпочитал манеру Робертсона, Юма, Гиббона, а также Вальтера Скотта.

Знаменитый романист «со стороны прозы» выходил к тем же проблемам исторической и художественной истины, как и русский писатель «со стороны науки».

Ознакомившись с историко-художественным методом Карамзина, видим, как понимал дело историограф, непрерывно путешествуя из древнейших пра-времен к своему...

Просвет между его Историей и его жизнью меж тем сужается всего до трех с небольшим столетий.

ПЕРЕД ВОЙНОЮ

Конец 1811-го: новый приступ усталости, болезни; расход явно выше дохода, растут долги. Можно у царя попросить, но ни за что не попросит: «Не хочу ни чинов, ни денег от государства. Молодость моя прошла, а с нею и любовь к мирской суетности».

«Нет сомнения, что счастье может быть только внутри нас».

Но счастье приходило также извне, ободря и помогая. Автор читает отрывки из Истории не только царям: куда чаще и больше в Москве — Жуковскому, Батюшкову, Тургеневу, Блудову, Уварову, Василию Пушкину. Будущий Арзамас почти что в сборе!

К. Н. Батюшков — Н. И. Гнедичу: «Я недавно слышал чтение его Истории и уверяю тебя, что такой чистой, плавной и сильной прозы никогда и нигде не слыхал». Впечатления 24-летнего поэта сохранены и в стихах:

Фантазии небесной
Давно любимый сын,
То повестью прелестной
Пленяет Карамзин.
То мудрого Платона
Описывает нам
И ужин Агатона
И наслажденья храм,
То древню Русь и нравы
Владимира времен,
И в колыбели славы
Рождение славян.

Молодого Пушкина именно в это время увозят в Лицей.

Новогоднюю ночь с 1811-го на 1812-й (той самой, когда Пьер Безухов, утешив Наташу Ростову, вышел через Поварскую к Арбатской площади и увидел знаменитую комету, «предвестницу войны») — той ночью Карамзин был неподалеку, на балу у графа Гудовича...

1 февраля 1812-го — извещает А. Тургенева, что «готов приняться за XVI век».

6 марта — брату — «...готовимся к войне с французами».

28 мая — снова пишет о близости войны, очень ее опасается, но верит в провидение.

Начало лета — последние годы Ивана III в VI томе Истории.

24 июня 1812 года Наполеон переходит Неман.

1812

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»

Наполеон идет к Москве.

«Мы положили не выезжать из Москвы без крайности: не хочу служить примером робости» (Карамзин — брату).

Все же пришлось разлучиться: Екатерина Андреевна с детьми отправляется в Ярославль; выехать не было денег, друзья выручили.

История не пишется — делается: «Я простился и с Историею; лучший и полный экземпляр ее отдал жене, а другой в Архив иностранной коллегии. Теперь без Истории и без дела».

Он хочет примкнуть к ополчению, просится «во что бы то ни стало ехать в армию, чтобы видеть вблизи все ужасы и всю прелесть сражений и описать их».

Сегодня ни один литератор, пожалуй, не написал бы таких слов — «*прелесть сражений*», но в 1812 году еще находили эту прелесть...

Генерал-губернатор Москвы граф Ростопчин (родственник по первой покойной жене) объясняет историку, что война сама идет сюда; уговаривает Карамзина 16 августа переехать к нему в дом.

Граф выпускает в те дни свои знаменитые афишки, написанные вульгарно простонародным языком и обращенные к «толпе».

Карамзин предложил Ростопчину писать *за него*, но генерал-губернатор не захотел (как замечает Вяземский) — «из авторского самолюбия».

Петр Вяземский, 20-летний очевидец событий, очень любопытно комментирует их более чем полвека спустя: он находит, что по сравнению с ростопчинскими афишками «беседы Карамзина были бы лучше писаны, сдержаннее, и вообще имели бы более правительственного достоинства. Но зато лишились бы они этой электрической, скажу грубой, воспламеняющей силы, которая в это время именно возбуждала и потрясала народ. Русский народ не афиняне: он, вероятно, мало был бы чувствителен к плавной и звучной речи Демосфена и даже худо бы понял его».

Однако Ростопчину никогда так не сказать, как это сделал Карамзин в его доме 27 августа 1812 года, на другой день после Бородина и за 6 дней до оставления Москвы.

Согласно рассказу очевидца, А. Я. Булгакова, в те часы кто только не сражал к Ростопчину в Сокольники: желали узнать, как окончилось сражение? на что надеяться? В одном очень открытом разговоре участвовали, кроме Карамзина, известный при дворе Екатерины и Павла стихотворец Юрий Нелединский-Мелецкий, знаменитый враг Павла I Никита Петрович Панин, генерал Васильчиков, атаман Платов (уверенный, кстати, что все стихотворцы на свете, и Карамзин в их числе, — горькие пьяницы). В городе толковали о вчерашней победе над Наполеоном, но генерал-губернатор, раньше других узнавший, что Кутузов

скомандовал отступление, пришел в смятение, которое передалось другим военным: «Ежели падет Москва — что будет после?»

Вдруг Карамзин, вообще не любивший войны, крови — почти в пророческом экстазе, уверенно объявил, что «мы испили до дна горькую чашу — зато наступает начало *его* и конец наших бедствий». Он говорил столь убежденно, как будто читал будущее и (по словам очевидца) «открывал уже в дали убийственную скалу святой Елены».

Среди смущенных, подавленных людей этот оптимизм выглядел странным, даже неоправданным, — но «в Карамзине было что-то вдохновенного, увлекательного и вместе с тем отрадного. Он возвышал свой приятный, мужественный голос; прекрасные его глаза, исполненные выражением, сверкали как две звезды в тихую, ясную ночь. В жару разговора он часто вставал вдруг с места, ходил по комнате, все говоря, и опять садился. Мы слушали молча».

Ростопчин неуверенно заметил, что Бонапарт «вывернется». Карамзин отвечал доводами, как будто взятыми из романа «Война и мир», — о единодушии народа, воюющего за свой дом, тогда как Наполеон за тысячи верст от своего, о сложных, необыкновенных путях исторического провидения (жаль, что Толстой не узнал вовремя об этой сцене и не разглядел в Карамзине своего единомышленника). Историк боялся не падения Москвы (он это предвидел, по утверждению Вяземского, еще в начале кампании); он боялся одного — как бы царь не заключил мира.

Когда Карамзин вышел из комнаты, гипноз его слов рассеялся, и Ростопчин съязвил, что в этих речах «много поэтического восторга». Тем не менее слышавшие всю жизнь затем вспоминали этот эпизод, где ученый-летописец преображался в еще более древнюю фигуру пророка.

Он выехал из Москвы 1 сентября, за считанные часы до вступления неприятеля.

Потом несколько очень тяжелых месяцев: Карамзин с семьей перебирается в Нижний Новгород, снова записывается в ополчение (как Минин в том же городе ровно двести лет назад). Однако Москва освобождена, «Наполеон бежит зайцем, пришедши тигром... Дело обошлось без меча историографического».

Одно из первых московских известий — Дмитриеву: «Вся моя библиотека обратилась в пепел, но История цела. Камознс спас Лузиаду».

Вскоре выяснилось, что в пожаре, вместе с домами и людьми, погибла библиотека Мусина-Пушкина, а с нею «Слово о полку Игореве»; погибли сотни других книг и рукописей, из которых Карамзин черпал свои сведения.

Москвы нет («для нас этой столицы уже не бывать»), нет денег, нет занятия; войне, как тогда еще казалось, конца не видно... Долго и тяжело болеет, 13 мая 1813 года умирает первый сын Андрей.

Карамзин не выдерживает, впадает в черное отчаяние, может быть, самое безнадежное за последние 10—15 лет. Ему кажется, что больше не найдет сил продолжать Историю, да и нужна ли теперь? «Что мы видели, слышали и чувствовали в это время!» — восклицает он в письме к А. И. Тургеневу.

Историк мечтает только добраться до Петербурга и отчитаться в

сделанном: «Едва ли могу продолжать... Лучше выдать, пока я жив» (из письма к брату).

Отчаянному шагу — бросить Историю, уйти на покой — помешали прежде всего война и время (догадываемся и об огромной роли Катерины Андреевны).

Война с 1813 года перенесена в Европу, Александр I в армии — готовые тома некому представить, да и удобно ли?

Великие сражения, последние успехи и поражения Бонапарта...

Карамзин с его особым провидческим чутьем, скорее не разумом, а чувством угадывает внутренний нерв событий. До последних дней похода он все не уверен; разве не чудо — предсказанное им после Бородина крушение завоевателя? Но не может ли все более сдавливаемая Наполеонова пружина раскрутиться обратно, поскольку теперь французы прижаты к стене?

Это сейчас, почти через два века, нам кажется все ясным — что Бонапарт был обречен, а война выиграна уже с конца 1812-го. Однако многое в этой уверенности происходит от твердого нашего знания — чем дело кончилось... Карамзин же может вызвать улыбку потомка, когда пишет брату даже 25 марта 1814 года (за неделю до падения Парижа): «Вести из армии хороши, однако же нельзя не беспокоиться: трудно завоевать такую землю, как Франция».

Письмо, верно, пришло в Симбирск как раз в день окончания войны*... Однако «смешные страхи» Карамзина происходят от многознания истории, ощущения великих ее тайн. И разве не сродни этому ощущению «странные» соображения М. И. Кутузова, который опасался Наполеона до последнего мига, не советовал идти за ним в Европу?

Внешне неразумно — внутренне мудро: мало ли что может придумать припертый к стене гениальный полководец? Мало ли как мстит история за излишнюю самоуверенность?

Но Париж взят: салюты, ликование...

Кончилась одна историческая эпоха, начинается другая.

Какой урок должно извлечь народам, царям из случившегося? Не обязан ли историк-художник первым заметить направление времени?

Карамзина это мучит не меньше, чем старое беспокойство, заставившее в 1803 году все бросить и приняться за Историю.

ЗАВТРАШНИЕ ЧИТАТЕЛИ

Гуляя по сгоревшей Москве, любимому городу юности, зрелости, первых трудов, Карамзин немало примечает; как всегда, самое важное открывает вечному другу Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Не одни дома сгорели: самая нравственность людей изменилась в худое, как уверяют. Заметно ожесточение; видна и дерзость, какой прежде не бывало. Правительство

* Даже в связи с таким известием не утомившийся за военные годы доносчик П. Голенищев-Кутузов сумел сделать очередной выпад: оказывается, на торжествах в Москве «Мерзляков, обожатель Карамзина», не успел написать стихи на взятие Парижа — и «я пособил, велел прочитать мои».

имеет нужду в мерах чрезвычайного благоразумия. Впрочем, это не мое дело».

Правительство — это, между прочим, министр юстиции Дмитриев, которому ведь полезно знать, что народ не тот, каким был прежде, что нужны реформы, серьезные дела, серьезная программа (очевидно, не худшая, чем была у Сперанского?).

«Дай бог, чтобы счастливый мир дал правительству более способов заняться с успехом внутренним благоустройством России во всех частях! Доживем ли до времен истинного векового *творения*, лучшего образования, назидания в системе гражданского общества? Разрушение надоело. Говорю в смысле нашего ограниченного ума: божественный видит иначе; но мы, бедные люди, имеем право молиться в засуху о дожде, в бедах о спасении».

Иначе говоря, после войны нельзя жить по-старому: возможна вторая пугачевщина или мятеж какого-нибудь иного рода. На взлете побед, успехов, за 12 с небольшим лет до Сенатской площади, предчувствия Карамзина выглядят особенно значительными.

«Настал другой век. Дай бог тишины и благоденствия для остальных дней наших».

Он из самих-то побед предлагает извлечь не только радостный, мажорный аккорд; однажды запишет: «Мы наказаны, но спасены со славою». То есть в прошедшем, предвоенном периоде были какие-то роковые несообразности, тяжкие грехи, приведшие к наказанию и искуплению.

Историк, можно сказать, перефразирует древнерусского летописца, который восклицал (по поводу разорения Киева половцами): «Согрешили и получаем наказание. Как сделали — так и страдаем». Карамзин толкует о *наказаниях* за недавнее; может быть, прав Сперанский, еще до войны как раз желавший заняться «внутренним благоустройством России во всех частях?»

Нет, тут Карамзин бы не согласился, но с обычной своей честностью, наверное, признал бы, что многого не видел, не понимал до великого 1812 года. Война и все то, что произошло с людьми, заставляет искать новые слова, новые формы...

«СВОЯ ПОЛУШКА»

Тревоги, победы, размышления — все это возвращает Карамзина к работе.

21 июля 1813 года он все-таки пишет «Примечания к царствованию Ивана III», то есть доделывает VI том, достигает 1505 года.

20 апреля 1814-го — Дмитриеву: «Надеюсь в Остафьеве кончить Василия Ивановича и прибавить главу о состоянии России, а после увидим».

Рассказ движется к 1533 году.

15 июня 1814-го — Александру Тургеневу: «Оканчиваю Василия Ивановича и мысленно уже смотрю на Грозного. Какой славный характер для исторической живописи! Жаль, если выдам Историю без сего любопытного царствования».

Охота к Истории вернулась, но теперь тесновато в одном XVI столетии.

30 марта 1814 года, в последние дни войны, Карамзин признается императрице-матери Марии Федоровне: «Хотелось бы мне потом остаток моих способностей употребить на описание великих происшествий нашего времени. <...> Не спешу — надобно видеть конец».

Война окончилась, и Дмитриев из столицы (может быть, обменявшись мнениями с Марией Федоровной), очевидно, советует обратиться к недавним событиям. Карамзин отвечает: «Мысль описать происшествия нашего времени мне довольно приятна; но должно знать многое, чего не знаю. Не возьмусь за перо иначе, как с повеления государя. Не хочу писать для лавок: писать или для потомства, или не говорить ни слова. У меня есть царь Иван Васильевич: довольно для остатка дней моих и способностей».

Итак, Иван IV или Александр I?

Главные свои мысли можно представить на самом различном материале; однако современность — неизменная первопричина работы — теперь просто захлестывает, «работе мешает»: «Я готов явиться на сцену со своей полушкой, и если буду жив, то непременно предложу усердное перо мое на описание французского нашествия; но мне нужны, любезный, сведения, без которых могу только врать. <...> Мы очень славны, авось, будем и разумны; всему есть свое время» (из письма к Дмитриеву).

Царь должен сделать заказ, открыть новые секретные архивы, и, главное, заранее смириться с тем, что о славных делах 1812—1814 годов будет рассказано без всякой лести — «авось, будем разумны»...

Как жаль, что не сохранилось ни одного дмитриевского ответа на сотни карамзинских посланий! Ведь от того, что скажет министр юстиции своему только что возвратившемуся из похода царю, и от того, что Александр ответит, во многом зависит весь замысел, вся биография историка: либо старая История остановится на 1533 годе и отныне переносится в 1812-й, либо все по-прежнему.

Разумеется, большие надежды и на императрицу-мать.

Мы знаем, что осенью 1814-го у Карамзина был даже разработанный план истории Отечественной войны, сохранившийся в пересказе Д. В. Дашкова: «Главная цель автора есть вторжение французов в Россию и бегство их. Но что же привело их к нам? И с какими целями, с какими надеждами? — Для объяснения сего необходимо нужно начать с французской революции и вкратце показать ее последствия. Походы Суворова, Аустерлицкой, Фридрихсбургской, мир при Тильзите представлены глазам читателя в отдалении, как бы картины в волшебном фонаре. Но чем ближе к нашему времени, тем изображения становятся яснее, обширнее, подробнее. Сильно и красноречиво будет описание сей достопамятной кампании, если судить по жару, с каким Карамзин говорит об ней. Наконец, перенеся знамена русские за Неман, он опять сжимает, так сказать, свои изображения; краткими, но сильными чертами повествует подвиги в Германии и во Франции и потом вдруг устремляет все лучи на взятие Парижа, на славное сие последствие 1812 года, который никогда не перестанет быть главною его целию».

Снова Карамзин — Толстой.

Наверное, во всех попытках написать об Отечественной войне не было другой, по художественному смыслу более близкой к «Войне и миру» — при всей огромной разнице эпох, авторов, мировоззрений...

План был — история не состоялась.

Примерно в те же осенние дни 1814 года близкие люди извещались:

21 сентября — А. И. Тургеневу: «Если бог даст, то послезавтра начну царя Иоанна. Окончу ли?»

20 октября — брату: «Пишу царя Ивана Васильевича, но не думаю, чтобы я мог продолжать далее: слабеют силы и охота. Хотелось мне в прибавок описать историю нашего времени, то есть нашествие французов, но едва ли эта мысль исполнится по разным обстоятельствам».

Разные обстоятельства: подозреваем — отнюдь не только неоконченная история XVI—XVII веков, не только больные глаза, слабеющие силы. На вопросы или намеки императрицы-матери, Дмитриева царь, вероятно, не ответил ничего определенного. Отсюда выходило, что Карамзину надо прежде представить готовое — то, что пишется с 1803 года.

Но как нам не задуматься здесь и над тем, сколь быстро после чудных надежд на новую жизнь повеяло теперь холодком. Дмитриев получает отставку 30 августа 1814 года, «не сработавшись» с Аракчеевым. Военные поселения заложены. Нужна ли Александру I теперь откровенная карамзинская история недавнего времени, где роль царей может быть призрачна и сомнительна, зато поступь истории, роль народов страшна и очевидна?

Важные исследования А. Г. Тартаковского уточнили недавно, сколь разным было восприятие прошедшей войны у монарха и многих его подданных. Первые же послевоенные годы отмечены новым общественным явлением — обилием военных мемуаров, стремлением вчерашних победителей побольше вспоминать, выявить свою собственную причастность к истории (о чем раньше думали куда меньше). О недавнем вспоминают генералы и скромные чиновники, боевые офицеры и случайные как будто очевидцы значительных событий. С 1812-го по 1819-й написана примерно четверть воспоминаний о прошедшей войне.

Между тем царь и Аракчеев не очень хотят этих записок и предпочитают 1813-й и 1814-й главному, 1812 году, когда царя не было при войске, когда (по словам Пушкина) «в Москве не царь, в Москве Россия» (строчка из стихотворения «Наполеон», позже переделанная поэтом, очевидно, под давлением друзей). Молодежи, особенно лучшим из победителей, очень нужна в эту пору история их детства и молодости, написанная карамзинским пером. Из завоеванного Парижа Батюшков пишет Вяземскому: «Поздравь Николая Михайловича с нашими победами и с новыми материалами для Истории. Я желаю, чтобы бог продлил ему жизнь для описания нынешних происшествий; двойная выгода: у нас будет прекрасная, полная история, и Николай Михайлович будет жить более века. Сколько материалов!»

Батюшков, Вяземский, молодые лицейские — вот потенциальные заказчики карамзинского «1812»...

Но — не судьба. К тому же мудрено даже историографу «жить более века». Значит, нужно двигаться к своему времени издаека, от грозного Ивана Васильевича: жребий, в конце концов, не худшии.

Путь выбран, все как будто возвращается на круги своя — и новый сын, родившийся в 1814 году, назван в память умершего Андреем: звать

ему Пушкина, Лермонтова и погибнуть в другой большой войне, в 1854-м; но как далеко это будущее! Пока что отпу младенца — Историю оканчивать.

ДО 1560 ГОДА...

21 января 1815 года (А. Тургеневу) — «Пишу о царе Иване и венчаю его мономаховым венцом»: 1547 год.

Март — июнь 1815 года — фантастическое возвращение Наполеона с Эльбы, «Сто дней», Ватерлоо. Карамзин спокоен: «С Францией как-нибудь управятся, а якобинцы не воскреснут».

Историк знает дело; якобинцев очень не любит, но помнит, что за сила в них была: «не воскреснут» — и поэтому Наполеону не победить. С этим согласятся и сегодняшние исследователи эпохи...

9 сентября: Наполеона отправляют на некогда грезившийся Карамзину остров святой Елены, историк же выходит к рубежу: «Управляюсь мало-помалу с царем Иваном. Казань уж взята, Астрахань наша, Густав Ваза и орден Меченосцев издыхает, но еще остается много дела и тяжелого: надо говорить о злодействах, почти несслыханных. Калигула и Нерон были младенцы в сравнении с Иваном»: 1560 год.

Окончить, отделать, привести в порядок, представить восемь томов. Почему же именно *восемь*? Если меньше, то (как уже говорилось) не будет цельной картины, да и художник-историк чем позже, тем больше находит простора для пера, для описания драматического хода событий, живых характеров.

Отчего же не более восьми?

Восьмой останавливается на времени, когда, по мнению Карамзина, Иоанн Грозный еще «не плох», а правдивый рассказ о нем — еще не повесть о тиране.

Затем, в девятом томе, должны начаться такие страшные дела, которые лучше не сразу представлять нынешнему царю; прежде — испытать судьбу, как будут приняты первые восемь книг?

В декабре 1815-го пишется Введение ко всему труду (позже очень высоко оцененное Пушкиным). Делаются последние поправки.

Движение вперед — и все время возвращение к написанному:

Все давно написанные тома, начиная с самого первого, нужно все время пополнять. Да и правка написанного, как видно, адская.

Положим рядом с VII томом черновики, случайно уцелевшие, очевидно, взятые на память историком М. П. Погодиным, и заметим любопытные вещи.

В окончательном тексте: «Василий приял державу отца, но без всяких священных обрядов, которые напомнили бы россиянам о злополучном Дмитрии, пышно венчанном и сверженном с престола в темницу. Василий не хотел быть великодушным: ненависта племянника, помня дни его счастья и своего унижения, он безжалостно осудил сего юношу на самую тяжкую неволю». Речь идет о борьбе за власть между Дмитрием, внуком Ивана III (сыном покойного старшего сына), который имел право на престол, и вторым сыном Ивана — Василием, который и сел на трон Василием III.

В черновике видно, как по несколько раз меняются эпитеты, обороты,

порядок фраз. Слова «ненавидя племянника» были достаточно смелыми при оценке царствующего государя. Кроме того, Карамзин, как видно, сомневался — точно ли дело в личной ненависти (на другой странице напишет о жертве «лютой политики», то есть жестокой по природе власти и т. п.). Слова «ненавидя племянника» он зачеркивает и восстанавливает четыре раза.

Хотя иные фразы сохраняются такими, как впервые вышли из-под пера, все же очень много правки, но в основном стилистической: общая идея, исторический взгляд, как видно, Карамзину ясны, но стиль, главное, стиль!

Некоторых описаний в черновике нет — вставлены позже; но вот особенно любопытное место. Карамзин сначала написал о Василии III: «Подражая отцу в миролюбии, согласно с честью и безопасностью России, в сношениях с Литвою Василий оказывал благоразумие и миролюбие».

Фраза показалась историку слишком слащавой, а великий князь чересчур идеальным; стремясь к объективности, Карамзин зачеркивает, меняет варианты: «Василий... не изменяя благоразумию»; «в сношениях с Литвою Василий... готовый всегда к миролюбию...». Все не то: Карамзин не хочет становиться исключительно на точку зрения Василия, дальнейший ход событий обнаруживает куда более реалистическую картину политических отношений, дипломатии, интриг. Как бы устыдясь, что его несомненный патриотизм — в ущерб истине, Карамзин в последний раз все перечеркивает и сочиняет фразу, которая и попадает на 12 страницу VII тома: «В сношениях с Литвою Василий изъявлял на словах миролюбие, стараясь вредить ей тайно и явно». Эта фраза историка-патриота, глядящего со стороны России, не сочувствующего Литве, но несомненно солгать, особенно достойно иллюстрирует пушкинское «подвиг честного человека»; ее можно было бы выбить на воротах *храма Истории*.

Так Карамзин боролся за истину, сражаясь все больше сам с собою.

В одном из самых откровенных признаний историка-художника находим: «Трудно говорить о неизглаженном, а между тем хочется говорить, слушать. Являются светлые мысли, и вдруг, как призраки, исчезают; каплет мед в уста, и вдруг делается горько. Есть... но что и как? Добрый Сократ! и я знаю, что ничего не знаю; знаю даже, что и ничего не узнаю в мире явлений».

Насколько такой взгляд обоснован, чего здесь больше — отступления назад или движения вперед — поговорим в заключении к нашей работе. Пока же вернемся к историку, готовому представить дело своей жизни главе своего государства. Позади 13 лет труда, любви, дружбы, борьбы за собственное достоинство; позади великая война, рождение и смерть детей...

Незадолго до отъезда в Петербург умирает от скарлатины старшая дочь Наталья; через 10 дней в беседе с Александром Тургеневым Карамзин высказывает взгляд на жизнь, который тут же (в изложении младшего) представлен общим приятелям в Петербурге: «Жить есть не писать историю, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; все другое, любезный мой приятель, есть шелуха: не исключая и моих осьми или девяти томов. Чем далее мы живем, тем более объяс-

няется для нас цель жизни и совершенство ее. Страсти должны не счастливо, а разрабатывать душу. Мало разницы между мелочными и так называемыми важными занятиями: одно внутреннее побуждение и чувство важно. Делайте, что и как можете, только любите добро, а что есть добро — спрашивайте у совести. Быть статс-секретарем, министром или автором, ученым — все одно».

Таков был историограф перед появлением в столице.

«ПРИВРАТНИК БЕССМЕРТИЯ»

В конце января 1816 года, дождавшись разрешения Екатерины Андреевны вторым сыном, Александром (тоже будущим приятелем Пушкина, Жуковского, Лермонтова), Карамзин вместе с Жуковским и Вяземским едет в Петербург; снова (но уж точно в последний раз) расстается с женой, зато пишет ей ежедневно, а письма, к счастью, сохранились...

В Петербург, где он не был *26 лет*: со времени возвращения «русского путешественника»...

Приехав в столицу 2 февраля, в конце марта вернулся в Москву. 18 мая, отправив вперед «обоз и людей», со всей семьей в карете покидает Москву окончательно — и через пять дней снова в Петербурге.

Месяцы важнейших для Карамзина событий. Петербург непривычен, впечатлений слишком много, суета, расходы: 500 рублей в месяц за карету, 70 рублей — лакей...

Историографа всюду приглашают, принимают. Вдруг оказывается на маскараде, в огромной зале среди трех тысяч человек: «В одном маскардном платье (графа Румянцева) и в башмаках ходил по холодным коридорам, два часа ожидал в холодной комнате, чтобы посмотреть фейерверк, и потом, вышедши в поту из огромной залы опять в холодные сени, нимало не простудился. Кареты не ждал ни двух минут, потому что уехал рано, в 11 часов, пить чай и ужинать к хозяйке».

Обед у Державина — с Шишковым и даже с испуганным доносчиком П. И. Кутузовым, в общем «со всеми моими смешными неприятелями и скажу им: „есмы один посреде вас и не утрашуся!“»

Обеды у Румянцевых, Олениных, Мордвиновых (между прочим, со старым *приятелем* Пестелем, тем самым почт-директором, кто распечатывал для царицы Екатерины II карамзинские письма); чтение глав из Истории у императрицы-матери Марии Федоровны. Одна из ее дочерей удивлена, за что уж так *ласкают* этого человека. Старинный острослов Ростопчин удачно отвечает: «Потому что он привратник бессмертия».

И конечно, постоянно — лучшие друзья: один раз до второго часу ночи, другой раз, кажется, всю ночь...

Арзамасы — веселый литературный союз с шутовскими атрибутами: арзамасский колпак, обязательное угощение — арзамасский гусь, постоянные надгробные речи литературным противникам и самим себе, обязательные прозвища, заимствованные только из стихов Жуковского: *Светлана, Дымная печурка, Чу, Вот я вас! Сверчок...* Так дурачатся примерно три года, но как не вспомнить петровские «потешные забавы», переросшие в военные дела; сначала — шутки под Кожуховым, затем победы под Азовом... Здесь дурачатся Жуковский, Вяземский, Денис Давыдов, Батюшков, братья Тур жевы, Никита Муравьев, Михаил

Орлов, — чуть позже Пушкин, а из «галиматъи» выходит лучшая русская литература...

«Не заводя партий, мы должны быть стеснены в маленький кружок... должны быть под одним знаменем: *простоты и здравого вкуса*. Министрами просвещения в нашей республике пусть будут Карамзин и Дмитриев. Я папою нашим, Филаретом» (Жуковский).

Одной *вечной*, как говорят, проблемы у этих шутников не было: проблемы отцов и детей. Для 17-летнего Пушкина-Сверчка Жуковский, Александр Тургенев, Батюшков — 35-летние отцы, 50-летний же Карамзин — дед. Однако равенство отношений поразительное: Жуковскому и в голову не приходит учить Пушкина, Карамзину — Жуковского. Нет ни детей, ни отцов, ни дедов — все дети: время такое, люди такие!

Все, возрев на Старину,
Персты вверх и ставши рядом
«Брань и смерть Карамзину!»
Грянули, сверкая взглядом.
«Зубы грешнику порвем,
Осрамим хребет строптивый,
Зад во утро избием,
Нам обиды сотворивый!»

Впрочем, Карамзин — единственный — не имеет шутейного прозвища: «Вам, арзамасцам, — наставляет друзей Вяземский, — должно лелеять его и, согревая арзамасским союзом, не допускать до него холодный ветр Невы».

Ну, они уж — не допускали. «То-то гусь!» — записано об историографе в Арзамаском протоколе. «Наш евангелист Карамзин!», — восклицает Жуковский.

Батюшков: «Карамзин, право, человек необыкновенный! И каких не встречаем в обоих клубах Москвы и Петербурга и который явился к нам из лучшего века, из лучшей земли: откуда — не знаю!»

Когда же, чуть позже, судьба заносит Батюшкова в Неаполь, он сообщает любимому Карамзину: «Пили как-то вино за ваше здоровье на том месте, где римляне роскошествовали, где Сенека писал, где жил Плиний и Цицерон философствовал».

Карамзин читает своим арзамасцам описание взятия Казани, и они довольны — до потери юмора (впрочем, Александр Иванович Тургенев вернул им эти привычные радости, когда вдруг громко всхрипнул при чтении; историограф же бровью не повел, и — не стали будить).

Однако *спящий* все расслышал и написал братьям Сергею и Николаю, что История Карамзина «послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического управления и, бог даст, русской возможной конституции».

Такого, кажется, еще никто не говорил об историческом труде: зная хорошо тайные мысли братьев-декабристов, более умеренный Александр Иванович предлагает им «Историю Государства Российского» как устав и программу... «Брат всем восхлщается», — недоверчиво откликается Николай Тургенев, но Историю ждет с нетерпением.

Они очень нужны друг другу — старший историограф и молодые

арзамасцы. Вот лучший способ для мастера не отстать от эпохи! Вот постоянная питательная сила. В нескольких письмах Карамзин восклицает: «Да здравствует Арзамас!», радуется связи «дружбы и воспоминаний», мечтает «жить и умереть» с этими арзамасцами.

А они с ним.

Батюшков — Жуковскому: «Если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него, и дороже еще, если не сделаешь того, что Карамзин; он избрал себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений: тайное занятие для профанов, истинное убежище для души чувствительной.

Последуй его примеру».

Молодые арзамасцы везут своего «евангелиста» в Царское Село, и там возобновляется знакомство с кудрявым отроком, которого более 10 лет назад Карамзин изредка наблюдал в доме Сергея Львовича Пушкина. Дядя-арзамасец Василий Львович наставляет племянника насчет Николая Михайловича: «Люби его, слушайся и почитай». Но даже такая *любезная* племяннику мораль, даже то обстоятельство, что Карамзину было (мы точно знаем) не до стихов юного Пушкина, — даже все это не помешало симпатии и уважению лицеиста к историографу (тем более, что все прочие лицейские «скотобратцы» завидовали; только Пушкин да еще Сергей Ломоносов — по старинным *детским* связям — могли запросто беседовать с самим Карамзиным).

АУДИЕНЦИЯ

Меж тем царь почти два месяца не принимает: где там старая дружба 1811 года? Как представляются теперь Александру тогдашняя откровенность, карамзинские речи и письма?

С тех пор мир перевернулся — к царю же не пускают, ибо идут придворные церемонии в связи с бракосочетанием младшей сестры Александра.

От того, как будут приняты во дворце восемь томов, зависит вся жизнь, благосостояние, но не таков историограф, чтобы *просить*: «Знаю, что могу съездить и возвратиться ни с чем...» «Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков». Когда-то помогала великая княгиня Екатерина Павловна, но теперь — «она занята и в нас не имеет нужды».

Если же царь не одобрит, ну что же: «...продать часть имения и жить по-мещански».

«Сколько дней для меня потеряно...»

«Твой друг знает свой долг по отношению к государю, но он знает также и свой долг по отношению к собственному моральному достоинству» (Карамзин — Дмитриеву).

Умные люди намекают — и Карамзин (в письме к престарелому Николаю Ивановичу Новикову) сообщает, что «в Петербурге одного человека называют вельможею: графа Аракчеева».

К Аракчееву проситься не хочет, в середине марта находит, что есть предел унижению, и решительно собирается восвояси...

Однако Аракчеев сам позвал... Карамзин решил, что это не его приглашают, а младшего брата, служившего по ведомству военных поселений.

Брат пошел — Аракчеев тут же начал с ним разговор о российской истории и мгновенно выяснилось, что должно явиться «другому Карамзину». Пришлось идти... Говорили, что Аракчеев улыбается не более двух раз за год. Одна улыбка расходуется на историографа. С ним милостиво беседуют, присматриваются...

Разумеется, были благоприятные отзывы царицы-матери и министров, но и сам царь нашел полезным, в конце концов, Карамзина поощрить. Холодное молчание по поводу планов писать «Историю 1812-го», но слишком уж велика заочная слава восьми томов «Истории Государства Российского», слишком громко звучит имя Карамзина.

Политика, идеология Александра по природе своей двойственны — шаг влево и тут же вправо; Лицеи, университеты, конституция Польше, тайные планы российской «хартии» — и одновременно военные поселения, «Священный союз».

Аракчеев и Карамзин...

Как только посетил Аракчеева — сразу и царь *пригласил*. Карамзин получает аудиенцию — и неслыханные милости.

Чин статского советника, орден Анны I степени. Карамзин при всем политесе, как видно, не сумел, или не желал, скрыть своего безразличия ко всему этому; тогда же сказал друзьям: «Не родись ни умен, ни пригож, а родись счастливым»; «Не мое дело умножать число аннинских кавалеров при дворе и слушать фразы; надобно работать...»

Александр заметил недоумение Карамзина и объявил, что награда жалуется не за Историю, а за старую Записку («О древней и новой России»).

Главное же — История.

Царь дал изрядную сумму — 60 000 рублей на публикацию; разрешение — печатать в императорской военной типографии. Без специальной цензуры.

Карамзин опасался цензоров: «Надеюсь, что в моей книге нет ничего против веры, государя и нравственности, но, быть может, что цензоры не позволят мне, например, говорить свободно о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае, что будет история?».

Действительно, что будет история? Но Александр объявляет, что сам будет цензором. Вот кого, в сущности, копировал Николай I, беседуя с Пушкиным.

Милость — и зависимость: Пушкин хорошо это знал, когда писал: «Государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности».

Карамзин не просил — царь *сам* дал.

Не раз это истолковывалось как ясное доказательство дворянского, крепостнического, официального характера карамзинской Истории; случалось, подобное мнение высказывалось в весьма обличительных формах. Например, М. Н. Покровский (более полувека назад) говорил на своих лекциях: «Когда наш брат теперь напишет что-нибудь новое, — куда он идет? Он идет в Коммунистическую академию и там читает. Когда

Карамзин написал первую главу [?] „Истории“ — что он сделал? Он поехал в Тверь, где в это время находился Александр I в гостях у сестры; получение же денег и чина в 1816 году — типично придворная история! <...> Это была действительно официальная „историография“ той России, того режима, который привел декабристов к убеждению, что, не вырезав всех Романовых, нельзя сделать шаг вперед).

Столь резкие формулировки принадлежат в немалой степени истории того времени, когда они произносились, и требуют, конечно, столь же исторического подхода, как и сама История Карамзина. Да, разумеется, царь проверял историка на лояльность, разумеется, классовое, дворянское присутствие в его Истории и многое определяет...

Но самое интересное в Карамзине как раз то, что выходит за эти рамки: иначе чем же он лучше Аракчеева?

Как объяснить, что декабристы, собравшиеся «вырезать Романовых», относились к Карамзину с огромным интересом и уважением, даже с ним не соглашаясь (об этом речь впереди)? Откуда же пушкинское определение «Истории Государства Российского» — «подвиг честного человека»? Для ответа на эти и другие существенные вопросы последуем за историком в Петербург, где суждено увидеть свет его главному труду.

ПЕТЕРБУРГ

Если печатать в Петербурге, значит, надо там и жить и проститься с Москвою, где Карамзин, по его словам, провел «три возраста жизни».

Историограф гуляет по Петербургу и округе — все отыскивает московские виды. «Я не в России, когда слышу вокруг себя язык чухонский»; «берега Невы прекрасны, но я не лягушка и не охотник до болот». С первых петербургских дней Карамзин жалеет жену, которая, по его мнению, «приносит жертву», оставаясь в столице: «Двор не подходит ее характеру и складу ума...»

И снова — Дмитриеву 27 июня 1816 года (сколько лет переписывались от того, что Карамзин в Москве, а Дмитриев на Неве; теперь вдруг на старости лет поменялись местами — министр в отставке, историограф во дворце). И так — Дмитриеву: «Меня еще ласкают, но московская жизнь кажется мне прелестнее, нежели когда-нибудь, хотя стою в том, что в Петербурге более общественных удовольствий, более приятных разговоров. <...> Люби, люби Москву, будешь веселее».

Чуть позже — «Вижу перед собой смерть или Москву в 1818 году».

Но постепенно — все добрее к новому месту.

«Здесь люблю государя, императрицу и — Неву».

«Вообще, не обижая Москвы, нахожу здесь более умных, приятных людей, с которыми можно говорить о моих любимых материях». Позже встречаем такие слова: «Помышляю иногда о Москве, но не хотелось бы на старости переменить места, тем более что и сыновья подрастают»; еще позже: «Люблю Москву как душу, хотя и не смею сказать, чтобы я желал теперь возвратиться в ее белокаменные стены...»

И все-таки до последних дней, как будто предвосхищая мечту трех сестер, время от времени восклицает: «В Москву, в Москву!»

Вот, думал, выйдут восемь томов — и в Москву; даже ящики архивных бумаг до поры до времени не велел высылать со старого места — может, не понадобятся до возвращения; восемь томов выйдут — однако сразу новое издание: опять нельзя уехать. А там Катерина Андреевна в положении — дорога вредна, «пусть жена родит — и в Москву» (вторая столица даже *чин имеет*: «Пора возвращаться в объятия бригадириши»). Но вот жена родила — пора еще том сдавать в печать; затем — новые семейные обстоятельства, а там — царь просит задержаться...

Никогда больше Николаю Михайловичу Карамзину не увидеть Москвы: 18 мая 1816 года в последний раз у заставы обернулся, 22 мая 1826 года окончится жизнь. Последние 10 лет и 4 дня пройдут в Петербурге или его окрестностях...

Пространство сужалось, расширялось историческое время.

ПЕРЕД НОВОЙ СЛАВОЮ

В Петербурге Карамзины стараются, не всегда с успехом, сохранять московские привычки. Зимой — в городе, сперва на Фонтанке у гостеприимной Е. Ф. Муравьевой, затем «около Литейного двора, на Захарьевской за 4000 р., Нева в 100 саженьях, не далек и Таврический сад; двор хорош и с садиком; всего довольно, и сараев, и амбаров, комнаты весьма не дурны, только без мебели». Летом и осенью они за городом, в Царском Селе, где по приказу царя для историка отделан китайский домик в царскосельском парке — с маленьким кабинетом во флигеле (друзья удивляются, как в столь малой келье помещается вся История Государства Российского!).

Царь дал 60 тысяч, но год многосемейной, светской жизни в столице стоит 40 тысяч. Хотя вскоре *История* начинает давать доход, и кое-какой оброк приходит из деревни, а все равно к лету 1819-го «половина исторического капитала уж рассеялась». За 5 лет прожили сверх доходов ровно 100000, еще через 4 года — 150000. Первый историк России, между прочим, жалуется брату: «Не имею достаточно средств на воспитание детей... Иногда не без грусти думаю, что нашим небогатым дочерям, к тому же и не красавицам, придется, как вероятно, доживать век в девушках».

День Карамзина: утром обязательный час прогулки (в любую погоду; в Царском Селе — верхом). Если очень холодно — утепляется: «под сюртук — тетрадь». Особым царским разрешением государственному историографу дозволено ходить не только по дорожкам, но и топтать царскосельские лужайки...

Знакомые места — военная служба, в ранней юности, возвращение из Европы 24-летним. «В Царском Селе... все напоминает Екатерину. Как переменялись времена и обстоятельства! Часто в задумчивости смотрю на памятники Чесмы и Кагула».

Недавняя жизнь все больше оборачивается историей. Уходят старинные, вечные, как казалось, соратники. Умер Державин; 18 июля 1816-го Карамзин отправляет Дмитриеву печальные строки: «В воскресенье мы обедали в Павловске: ничего не сказали мне о смерти знаменитого поэта! <...> Sic transit gloria mundi»*.

* Так проходит слава мирская (лат.).

После прогулки — чашка кофею, трубка и до трех-четырёх за рабочим столом (если только ревматизм или жестокая лихорадка не скручивают — на неделю, случается, и на месяц). Первые петербургские годы — корректура, корректура. Пока отодвинуты в сторону летописи XVI века, записки иностранцев, разнообразные документы о царе Иване Грозном. Повествование замерло на 1560 годе.

Тяжкая, нудная подготовка к печати восьми томов.

Типографией историк недоволен: 21 августа 1816-го — «Первый лист будет отпечатан едва ли не в начале сентября, хотя вперед уже дано 8000 рублей». «Ноты», т. е. примечания, тяжелы, прежде всего для глаз, «и для меня скучные: каковы же будут для читателей? Однако ж не имею духа поставить крест».

1 октября: «Типография смотрит на меня медведем».

Декабрь — отпечатано уже 20 листов первого тома в Военной типографии, а второй одновременно набирается в Медицинской.

12 марта 1817-20: «Читаю корректуру до обморока». Тома набираются уже в третьей типографии — Сенатской.

22 мая — полностью готов лишь первый том, со второго по шестой печатаются. «Бог знает, буду ли продолжать... Боюсь отвыкнуть от сочинения».

В четвертом часу обед, за которым допускается рюмка мадеры или специально присылаемой из Москвы другом А. Ф. Малиновским белой водки, «в которой желудок иногда имеет нужду». В эти часы сходится вся большая семья; отец сам обучает сыновей немецкому; дети спрашивают о религии — «приходится удерживать их любопытство ответами: *это непостижимо*. Они молчат, думая, может быть: „Что же вы нам изъясняете?“»

Вечера куда более разнообразны, нежели в Москве (чему хозяева не всегда рады). Забегают друзья-приятели, «и мы проводим вечера не скучно». Многодневный праздник — появление Дмитриева в Царском Селе (летом 1822 г.): несколько лет не виделись, больше не увидятся, но около месяца живут рядом, «через садик». Каждое утро Карамзин заходит и застаёт друга-брата в постели, целый день не разлучаются, но не помнят, «чтоб хоть четверть часа мы были без свидетелей».

Кроме друзей, к вечеру являются постоянно иностранные визитеры, просители, надеющиеся на влияние историографа при дворе. Один из них замечает, что Карамзин «знал в совершенстве *искусство беседовать*, которое вовсе различно с *искусством рассказывать*». Другой запомнит «очень громкий полновзвучный голос... величественный, энергический вид, прекрасные черты лица, свободные, непринужденные манеры». Третий восхитится тем, что историк радуется всякому противоречию и никогда не сердится.

Присылают приглашения ко двору, чаще всего от старой или молодой царицы: надо надевать нелюбезный мундир и пудриться. Во дворцах все очень вежливы и ласковы — «но многие ждут моей Истории, чтобы атаковать меня... Суетность во мне есть, но я искренне презираю ее в себе, и еще более, нежели в других». Историк постоянно отказывается от почетных званий; соглашается в академики после долгих уговоров, не желая обидеть уговаривающих: «...где люди, там пристрастие и зависть: иногда славнее не быть, нежели быть академиком. Истинные дарования

не остаются без награды: есть публика, есть потомство. Главное дело не получать, а заслуживать. Не писатели, а маратели всего более сердятся за то, что им не дают патентов».

День Карамзина подходит к концу. Поздно вечером — чтение «не по Древней Руси», вслух, чаще всего Вальтера Скотта «Айвенго», «Квентин Дорвард»: Карамзин настолько любит шотландца, что мечтает когда-нибудь у себя в саду поставить ему памятник. Иногда же историку приходится читать свое...

Лицейский Горчаков — дяде: «Некоторые из лицейстов, читавшие Историю в отрывках, в восхищении». Одному из первых учеников завидно, что он сам не знаком с историографом. «Некоторые» — это более всего Александр Пушкин, постоянный карамзинский гость (знаем, к примеру, что 1 июля 1818 года на озере в праздничном катере оказалась очень примечательная компания: Александр Тургенев, Жуковский, Карамзин, Пушкин).

«Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались...» (Пушкин).

В другой раз Карамзин говорит Пушкину о сенаторах и других важных лицах: «Заметили ли Вы, мой друг, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу».

Опять равный арзамасский разговор «деда» с «внуком». Младшему разрешено делать выписки из Истории; старший рекомендует, чтобы именно первому лицейскому поэту заказали стихи в честь принца Оранского («Довольно битвы мчался гром...»).

Но вдруг 17-летний Александр Пушкин пишет любовное послание 36-летней Екатерине Андреевне.

Анна Петровна Керн считала жену Карамзина первой любовью юного гения. О том, что любовное послание было написано и перехвачено, знали многие: Блудов любил вспоминать, «что Карамзин показывал ему в царкосельском китайском доме место, облитое слезами Пушкина».

Очень любопытен другой рассказ, записанный П. И. Бартеневым со слов друзей Пушкина: «Пушкину вдруг задумалось приволокнуться за женой Карамзина. Он даже написал ей любовную записку. Екатерина Андреевна, разумеется, показала ее мужу. Оба расхохотались и, призвавши Пушкина, стали делать ему серьезные наставления. Все это было так смешно и дало Пушкину такой удобный случай ближе узнать Карамзиных, что с тех пор их полюбил, и они сблизились».

Сцены эти хрестоматийно-известны, но о самом в них интересном почти не говорилось...

50-летний Карамзин, случайно прочитавший или получивший от жены любовную записку юного лицеиста — да сколь нервного, ранимого! Какие же слова нашел втрое старший знаменитый писатель, чтобы такой «внуку» плакал и смеялся, но притом не обиделся, не разъярился от собственной неправоты или чужой морали (как это было после нравочений такого, например, вполне положительного лица, как директор Лицея Энгельгардт); мало того, в пушкинских письмах с юга постоянный мотив — «где, что Карамзины?», «это почтенное семейство ужасно недо-стает моему сердцу»...

Отношения с историком однажды осложнятся, но это будет через полтора года; дело было в эпиграммах (о чем еще скажем), а история с любовным признанием тут совершенно ни при чем...

Какое же слово знал Карамзин, чтобы в столь невыносимом, щекотливом положении сохранить дружбу и любовь молодого гения?

Ах, если б угадать...

Дальним отзвуком этой таинственной сцены и всего царскосельского романа остались на всю жизнь особые отношения Пушкина к жене, потом вдове Карамзина. Гипотеза Тынянова, будто именно эта женщина была пушкинской Лаурой, Беатриче, потаенной возвышенной любовью, пронесенной через всю жизнь, — гипотеза не подтверждена и не оспорена... Она, однако, отражает (может быть, преувеличенно) некоторую безусловную истину: то особое отношение Пушкина, которое заставило смертельно раненного прежде всех других послать за Карамзиной.

Как жаль, что так молчалива была эта замечательная женщина. Но, может быть, иначе она не была бы такою...

Петербургский (или царскосельский) день окончен. Счастье: «счастье, когда жена, дети и друзья здоровы, а пять блюд на столе готовы. Заглянуть в умную книгу, подумать, иногда поговорить неглупо: вот роскошь! К ней прибавить можно и работу без всякого отношения к славолюбию» (из письма, разумеется, к Дмитриеву).

«Карамзин создал себе мир, светлый и стройный, посреди хаоса, тьмы и неустройства» (Вяземский — Александру Тургеневу).

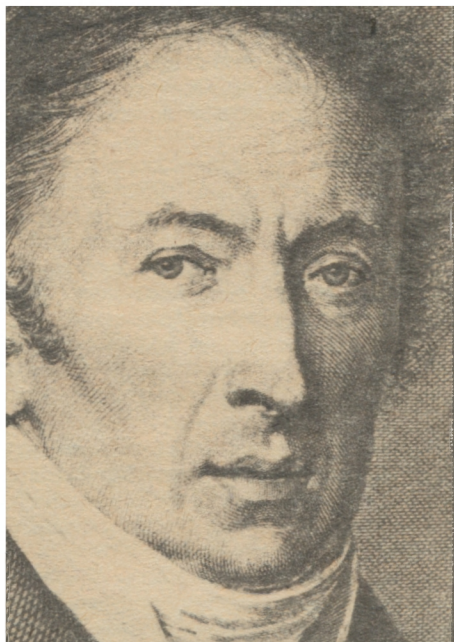
Мы говорили о вещах безусловно важных вперемежку с «бытовой мелочью». Цель же была — приглядеться к личности историка. Ведь вклад в культуру — отнюдь не только книги, картины, промышленные и полевые плоды. Вклад каждого человека в культуру — это и его личность; биография же таких деятелей, как Пушкин, как Карамзин, — культурное явление высокого порядка.

Одно из любимых упражнений автора этой книги — по тексту сочинения определять характер, личность незнакомого сочинителя. Иногда это — на поверхности, но чаще выявляется косвенно, многосложно...

Николай Михайлович Карамзин печатает восемь готовых томов и думает о следующих; одновременно — гуляет, умеет вести беседу, учит детей немецкому, радуется штофу московской водки, понимает, как не обидеть виноватого Пушкина. Все вместе это связано куда больше, чем принято думать. Культура карамзинской личности глубоко запечатлена в его сочинениях, где, таким образом, сливается несколько элементов тогдашней и любой цивилизации.

Вскоре к ним прибавится еще один: это общественный отклик, одна из высших его форм — слава.

**И
Появление
сей книги...
наделало
много шуму
и произвело
сильное
впечатление.
3000
экземпляров
разошлись
в один
месяц
(чего никак
не ожидал
и сам Карамзин) —**



**ПРИМЕР
ЕДИНСТВЕННЫЙ
в нашей
земле**

А. С. Пушкин

«История Государства Российского, сочиненная Н. М. Карамзиным, в осьми томах, продается в Захарьевской улице, близ Литейного Двора, в доме Баженовой...» — извещает в 1818 году «Сын отечества».

Иначе говоря, на той же улице, в том же доме, где живет Карамзин, патриархально продается его История, а Екатерина Андреевна считает привозимые из типографии экземпляры.

К этому времени по восемь книжек на веленовой бумаге отосланы царю, царицам, Дмитриеву и еще нескольким *особо важным* читателям. Завершено почти двухлетнее превращение карамзинской рукописи в

печатные тома. Нетерпение столичной публики и разные слухи опережают события.

Восемь томов — от древнейших времен до 1560 года.

«Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною... Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов „Русской истории“ Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле» (Пушкин).

Самые интересные мемуары о главном труде Карамзина, написанные Пушкиным несколько лет спустя.

Пушкинский отрывок, кажется, не пропускает ни одной стороны события — и поэтому позволим себе прибегнуть к «медленному чтению».

«3000 экземпляров... пример единственный». Как трудно нам, в эпоху гигантских тиражей, сопоставлять числа: классический тираж XVIII — первой половины XIX века — 1200 экземпляров. Так выходили главы «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», а прежде — карамзинские повести, «Письма русского путешественника». Потом, правда, следовали переиздания — еще 1200, еще... Но чтобы сразу 3000 — неслыханно! Удивление Карамзина хорошо видно по его письмам Малиновскому, Дмитриеву, родственникам.

12 февраля 1818 года: «Осталась только половина экземпляров».

К 19 февраля — продано 1900.

27 февраля: «Сбыл я с рук последний экземпляр моей Истории... Это у нас дело беспрецедентное. В 25 дней продано 3000 экземпляров». Карамзин, как видим, говорит почти что «пушкинскими словами» (или Пушкин это письмо прочитал?).

К 11 марта — Карамзин получил еще 600 заказов сверх проданного тиража.

Начало апреля — Николай Гургуев сообщает, что экземпляры Истории продаются по двойной цене.

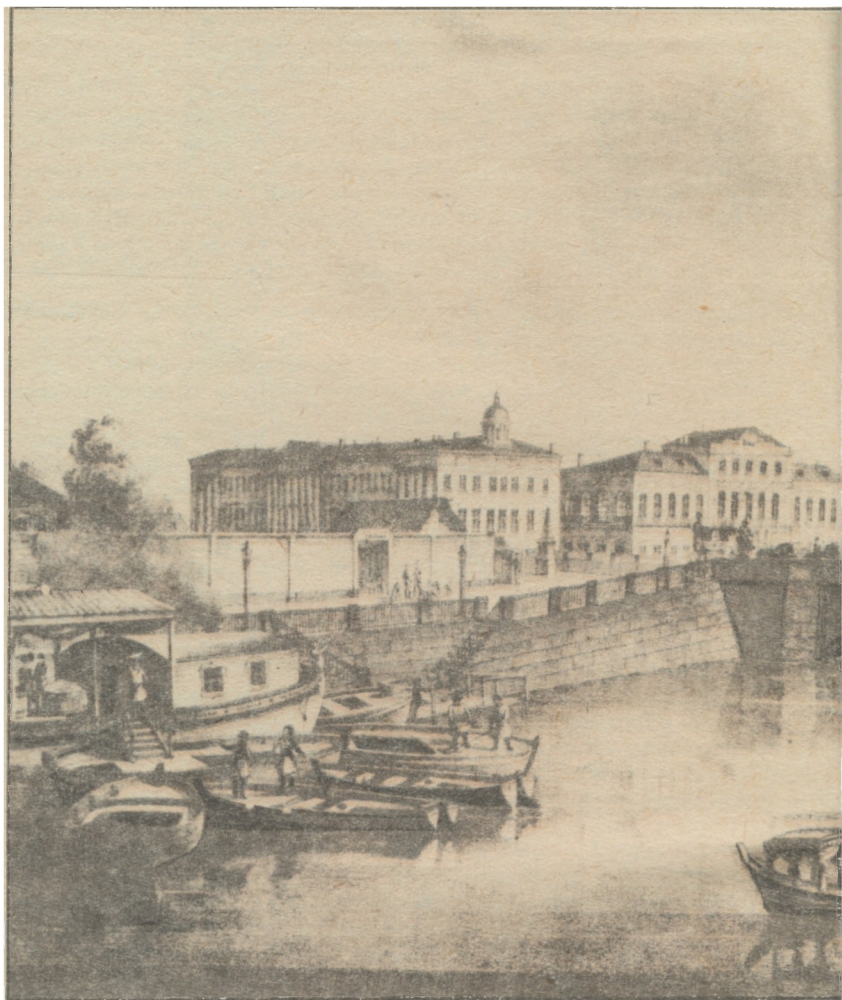
7 апреля — договор с книгопродавцем Слениным на второе издание.

8 июня — объявление о начале печатания второго «исправленного» издания. Газеты извещают о готовящемся переводе на французский, немецкий, итальянский...

Пушкин: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили».

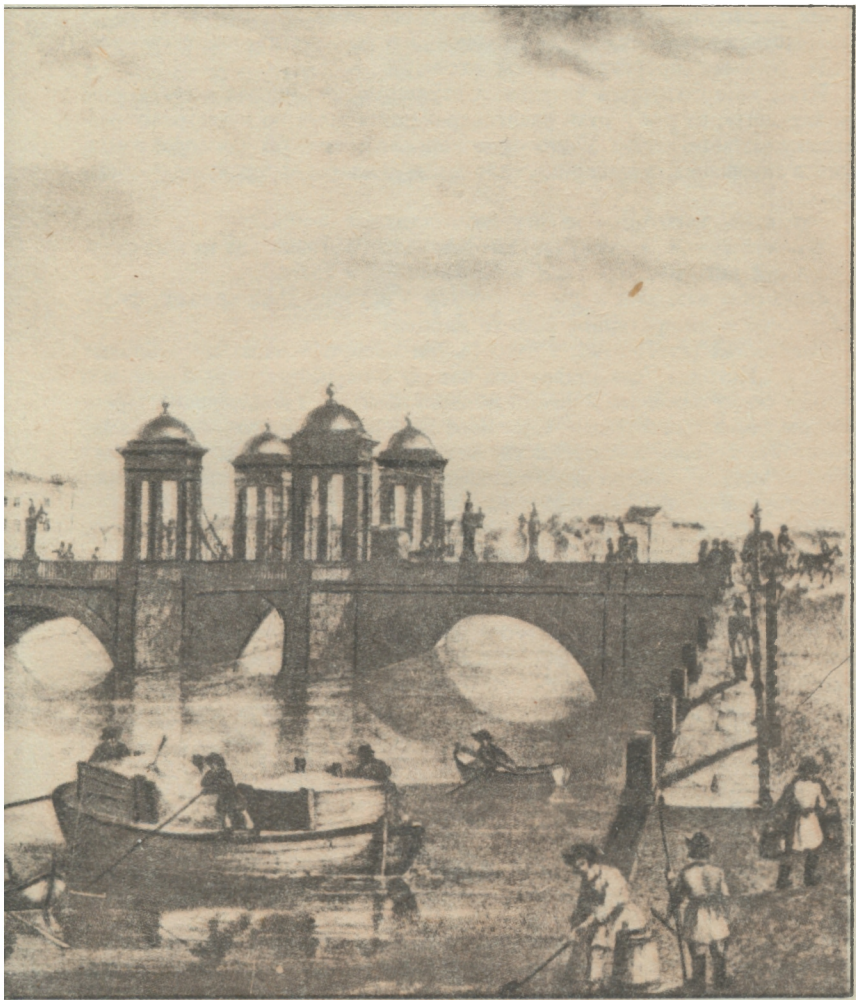
«Все...»

Петербургская цена была по 50 рублей за восемь томов в обыкновенном переплете, в Москве продавали за 58, в провинции и того дороже — цена обычная и немалая. Если бы грамотный мужик-средняк пожелал



приобрести Историю, она обошлась бы ему примерно в два годовых оброка.

Понятно, простых читателей совсем немного. Больше всего покупает Петербург — литераторы, чиновники, военные, придворные... И все же нашлись покупатели и среди «податных сословий». Такие люди очень интересовали историка, надеявшегося на будущую российскую образованность. Он не забывает, в нескольких письмах упоминает бурмистра одной из деревень Вяземского, который просит у своего барина «гостинца» — Историю Карамзина. «Я писал для русских, — восклицает автор, — для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян Шереметева (см. имена пренумерантов в восьмом томе)». Ученик Пен-



зенского духовного училища Иринарх Введенский, будущий заметный деятель 1840-х годов, пишет отцу-священнику: «Тянька, не посылай мне лепешек, а пришли еще Карамзина; я буду читать его по ночам и зато буду хорошо учиться».

Провинция сразу подписалась на 400 экземпляров — из них пятьдесят запросил далекий Иркутск, чего Карамзин совсем не ожидал; но возможно ли разглядеть из столицы восточносибирское просвещение? «Вообразите, — замечает историк, — что в числе сибирских субскрибентов [подписчиков] были крестьяне и солдаты отставные!» Москва же, любезная Москва «никак не проснется»: автор Истории дает неожиданное, весьма остроумное объяснение: «Я не дивлюсь, что в Москве и Ир-

кутке разошлось равное число экземпляров моей старины. К тому же я сам москвич: меня видали за бостоном, нет заманки для воображения».

То есть нет пророка в своем отечестве...

Итак, «все бросились читать»: завтрашние декабристы и вчерашние «новиковцы»; из рук в руки распространяются тома по известному рассаднику вольнодумства Училищу колонновожатых; об «Истории» толкуют в гимназиях, семинариях, салонах, в ученых и литературных обществах...

Вот лишь некоторые из первых откликов:

Жуковский — «...я гляжу на Историю нашего Ливия, как на мое будущее: в ней источник для меня и вдохновения и славы».

Вяземский называет 8 томов «эпохой в истории гражданской, философической и литературной нашего народа».

Сперанский (из Пензы): «...что бы ни говорили ваши либеральные враги, а „История“ сия ставит его наряду с первейшими писателями в Европе; скажу даже, что я ничего не знаю ни на английском, ни на французском языке превосходнее. Слог вообще прекрасный; дух — и времени, и обстоятельству, и достоинству империи свойственный... Он бранит меня, не зная, а я хвалю его с основанием. История его есть монумент, воздвигнутый в честь нашего века, нашей словесности».

Так бывший министр, чьи конституционные проекты были отринуты не без участия Карамзина, «мстит» старинному неприятелю.

Но поток восторгов продолжается.

Знаменитый *Федор Толстой (Американец)* «прочел одним духом восемь томов Карамзина и после часто говорил, что только от чтения Карамзина узнал он, какое значение имеет слово Отечество и получил сознание, что у него Отечество есть» (записано Вяземским).

Вигель обрадуется возвращению «со времен Петра презираемых нами преданий» и «открытию нового мира» Карамзиным.

Историк, публикатор старинных документов *И. П. Сахаров*: «Здесь-то [в Истории Карамзина] узнал я родину и научился любить Русскую землю и уважать Русских людей».

Еще и еще отклики.

Царь спрашивает мнение Вяземского об Истории сразу после ее выхода — тот еще не успел прочесть; Александр же объявляет, что проштудировал «с начала до конца».

Заинтересовался и Запад. Любопытство к российской истории подогревается огромным усилением международной роли страны после 1815 года.

Зато суровый декабрист *Николай Тургенев* очень насторожен, он готовит важные возражения — но притом признается: «Чувствую неизъяснимую прелесть в чтении... Что-то родное, любезное».

Такого успеха не было (и в известном смысле не будет!) ни у одного из историков. Правда, ни в одном крупном государстве того времени не было и такого пробела в исторических знаниях: ни англичанам, ни французам, ни немцам не нужно было открывать свою древность, как Колумбу Америке, так как они ее не теряли: другие исторические судьбы, другое отношение со своим прошлым...

Размышляя об этом несколько позже, Карамзин заметит друзьям, что, кроме всего прочего, *винит* в своей славе и удачу: «Есть же и у других таланты, которым не было средств не только развиться, даже и обнару-

житься при обстоятельствах неблагоприятных; есть и трудолюбие, которое не имеет удачи».

Если б не он — другим пришлось бы открывать древности, спасать Россию от нашествия забвения.

Но все же именно он успел.

Пушкин же (не через 8 лет, в мемуарном отрывке, а тогда же — в стихах к Жуковскому) написал:

Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!
Он духом там — в дыму столетий...

(Речь идет о Батюшкове и его огромном интересе к «Истории Государства Российского».)

Вяземский писал об этих строках Пушкина: «„В дыму столетий!“ Это выражение — город: я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы „дыма столетий“? О прочих и говорить нечего».

Дым столетий, оказывается, было дерзким, новаторским выражением: Державин, сам Карамзин так бы не выразились — то ли из почтения к минувшему, то ли из-за непривычного еще ощущения быстроты, вихря; не «река времен» (Державин), а именно — «дым столетий».

Подобный энтузиазм слишком заметен, чтобы не вызвать и толков самых разнообразных, в том числе критических, иронических: неизбежные спутники, а впрочем и признаки славы...

Пушкин: «Когда, по моему выздоровлению, я снова явился в свет, толки были во всей силе. Признаюсь, они были в состоянии отучить всякого от охоты к славе. Ничего не могу вообразить глупей светских суждений, которые удалось мне слышать насчет духа и слога „Истории“ Карамзина. Одна дама, впрочем, весьма почтенная, при мне, открыв вторую часть, прочла вслух: „Владимир усыновил Святополка, однако не любил его...“ Однако!.. Зачем не но? Однако! как это глупо! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина? Однако!»

«Прочла вслух» и недовольна Евдокия Голицына, «ночная княгиня» (молодой поэт, кстати, увлекся ею после того, как встретил у Карамзина). По-видимому, княгиня, рассердившись на *однако* в начале II тома, после того закрыла книгу, как это сделал и отец Герцена: он «принялся за Карамзина „Историю Государства Российского“, узнавши, что император Александр ее читал, но положил в сторону, с пренебрежением говоря: „Все Изяславичи да Ольговичи, кому это может быть интересно?“»

Декабрист Николай Тургенев сообщит брату Сергею: «Меж толки о ней [Истории] странны. Иные не находят в ней ничего нового, другие в претензии, зачем *История Государства Российского*, а не *Русская История*. Бакаревич три недели смеется (и смешит Английский клуб) над выражением «великодушное остервенение». Иной... иной жалуется, зачем о Петре I не говорит в *Истории*».

Тут любопытно *все* — и слава, и мода (каждому приходится все же хоть открыть книгу), и уровень «светских суждений»...

Защищая Карамзина, Пушкин ставит его (нечаянно и сознательно) выше среды, света. Разумеется, поэт прав в оценке многих глупых откликов, однако снова и снова хотим повторить уже сказанное прежде: Карамзин-историк ответил на понятую им потребность лучшего русского читателя, на вопрос тысяч людей о своем прошлом и настоящем. Людей, менявшихся под влиянием огромных событий в Европе и России конца XVIII — начала XIX века, особенно под впечатлением 1812-го. Сам Карамзин писал брату, что успех его «не доказывает достоинства книги, но доказывает любопытство публики или успехи нашего образования».

Общество жаждало художественной истории — Карамзин дал ее обществу.

Результатом был замеченный Пушкиным взрыв общественного энтузиазма в феврале 1818-го и позже...

Скажем больше, если бы Карамзин выдал свои тома до Бородина, до пожара Москвы и взятия Парижа, эффект хоть и был бы, но, думаем, много меньший. Россия, вернувшаяся из великого похода, желала понять сама себя и, наверное, никто лучше друга-родственника Вяземского не оценил этого обстоятельства:

«Карамзин — наш Кутузов двенадцатого года: он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в двенадцатом годе».

Карамзин — Кутузов...

Но для того чтобы так понять свой народ и свое время, надо было самому стоять выше, глядеть дальше других. Герцен позже советовал мыслителю, деятелю быть на шаг впереди «своего хора», но никогда не на два! Если не опережать, слиться с *хором* — не увидеть главного; слишком опередив, можно главного не услышать.

Противоречия с читателем, непонимание, таким образом, были в природе вещей — как и восторг, слава...

Пушкин: «В журналах его не критиковали. Каченовский бросился на одно предисловие.

У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. *Ноты* „Русской истории“ свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех годах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению».

Пушкин пишет эти строки много позже, когда улеглись первые восторги... Собственно говоря, поэт впадает, как легко заметить, в противоречие: невиданный тираж, успех, открытие русским их прошлого, но... «никто не сказал спасибо».

Мы видим, что многие *сказали*; и сам Пушкин, читая «с жадностью и вниманием», таким образом благодарил, признавал...

Но притом в журналах действительно критиковали — и немало;

в этом была даже известная смелость — нападать на сочинение государственного историографа, где на обороте титульного листа каждого тома значилось: «Печатано по высочайшему повелению». Пушкин, однако, в главном прав: такой ли критики было достойно это сочинение, необыкновенное во многих отношениях?

«НИКТО НЕ В СОСТОЯНИИ...»

Критиковал московский профессор Каченовский, позже — казанский ученый Арцыбашев, с печатной полемикой выступил польский профессор Лелевель (один из будущих вождей восстания 1830 года); несколько специалистов разобрали *Историю* в публичных лекциях, в письмах, впрочем, предназначенных для многих. Была и критика политическая, эпиграмматическая, но это жанр особый и разговор особый... В *Истории*, понятно, находили неточности, ошибки, делали дополнения — Каченовский был недоволен почти каждой фразой введения.

Карамзин благодарил, многое учитывал, кое с чем не соглашался; это естественно. Уровень точности соответствовал эпохе, грубых, смешных просчетов не было: речь не о том шла, и главная критика — за другое. Не вдаваясь в тонкости, оттенки, подробности, скажем, что в основном судили *ученые* — *художника*. Умный знаток митрополит Евгений (Болховитинов) позже запишет: «Татищев редко витийствует, подобно Карамзину, которого уже винят за то».

«Чувство души его для меня постороннее делу, когда читаю его творения, когда ищу в нем истины, — сердился Каченовский. — Требую от историка, чтобы он показывал мне людей такими точно, какими они действительно были; а полюблю ли их или нет, одобрю ли их мысли, их поступки, или напротив — это уже до меня, не до него касается».

Каченовский винит историка даже в обмане: во Введении говорится, что читатель, может быть, заскучает, а на самом деле — совсем не скучно!

Критик, видимо, хотел сказать, что уж *слишком* не скучно, что Карамзин напрасно оживляет рассказ, предлагая психологические объяснения, что он необъективен. Лелевель соглашается, что «российский историограф вовсе не прилагал старания, чтобы казаться слишком беспристрастным».

Первые критики сформулировали многое из того, что повторят вторые, пятые, десятки: вместо научной истории — художество, «сказочки»; слишком много авторской личности, слишком мало строгого разбора причин, следствий. Нет исторической философии, давно уж освоенной в Европе. Дерптский профессор Перевошиков, соглашаясь с тем, что Карамзин «единственный в искусстве представлять и располагать картины», причисляет его *Историю* к сочинениям *литературным* и ставит автора «наряду с Титом Ливием, Робертсоном», но «не с Тацитом и Миллером». Лелевель порицает за чрезмерный художественный «поск», за «романтизм», за то, что герои древности говорят и мыслят как люди XIX столетия, и, наконец, за то, что рассказ преимущественно о государях, но не о жизни народа.

Здесь было много верного, серьезного. Карамзин как будто оживлял умиравшую, отжившую традицию, все более нелепую для века разума и анализа.

И в то же время критики с водою постоянно выплескивают ребенка; действительно, никто не исследовал замысел Карамзина по законам, им самим провозглашенным.

Сравнения с *другими историками* были справедливы; разбор именно этого историка был явно недостаточен.

К тому ж критика, не привыкшая к гибким академическим формулам, постоянно переходила на *личность*. Некоторыми двигало раздражение, зависть. Так, благородного Лелевеля подталкивал на критику Карамзина неблагородный Булгарин. Мотивы последнего были таковы: хорошо бы публично высмеять ошибки историка, «ставящего себя выше всех писателей, называющего и Тацита и Фукидида глупцами, а греков и римлян дикими людьми».

«Насколько я его [Карамзина] знаю, — продолжает уговаривать Булгарин, — у него нет никаких идей, кроме таких, какие могут войти в роман...» Польского историка стыдят, что он-де «испугался» карамзинистов.

Лелевель возражает своему «поощрителю», что предпринимает разбор Карамзина только из внутренней потребности, не имея «иных побуждений». Затем признает, что по многим вопросам согласен с автором «Истории Государства Российского». Тут Булгарин пустился на провокацию, сообщив своему корреспонденту, что получил уже «63-е письмо», требующее новых критик на Карамзина. Когда же Лелевель попросил прислать хотя бы одно письмо для ознакомления, Булгарин, конечно, отмолчался.

Напечатав несколько статей, польский историк прекратил критику, хотя Булгарин умолял продолжать...

При такой форме и остроте полемики неудивительно, что друзья, восторженные почитатели нашли в упреках Каченовского и некоторых других оскорбление своего кумира, своих собственных мнений.

Дмитриев уверен, что Карамзин должен отвечать на резкие атаки Каченовского: «Иначе литература будет раздольем бумагомаракам»; он поощряет к антикритике Батенькова, Жуковского, упрекает их за «робость».

Вяземский — еще горячее: «Я вовсе не приверженец самовластных мер; но у нас, где свобода печатания не разрешена, где об актере придворном говорить запрещается... честь историографа должна быть ограждена законом от ругательств презренного мерзавца».

Чуть позже: «Каченовский хрипит... Его пора отпендрячить по бокам». «Кабаны, против него [Карамзина] бунтующие здесь, гадки... Пушкин с этими свиньями сражается языком, а я крепко думаю, что разделаяюсь с ними рукой».

Пушкин сочиняет на Каченовского четыре эпиграммы: напомним только первые их строки:

Бессмертною рукой раздавленный зоил...
Клеветник без дарованья...
Хавроннос! ругатель закоснелый...

И наконец, лучшая:

Охотник до журнальной драки,
Сей усыпительный зоил

Вяземский выдал тоже четыре эпиграммы...

Они знают, что историограф будет недоволен, всякую защиту в печати «почитая ниже себя», но Вяземский признается, что он в этих вопросах «сын алькорана, а не евангелия» и хочет «за пощечину платить двумя».

В свое письмо к историографу (после того, как уже отвечено Каченовскому) Вяземский включает своеобразный карамзинический манифест: «С трепетом ожидал я, почтеннейший и любезнейший Николай Михайлович, приговора Вашего негодования. Простите, я виноват перед Вами, но в некотором отношении прав перед собою, хотя и жаль, что делаю Вам неудовольствие. Вы в этом случае были для меня историческое лицо, представителем нравственного дела, которое я защищал, забывая о наличии личности. Я почитаю неблагопристойным молчание друзей истины, при наглом монополе невежества и хотел омыть наше время от этого стыда. Уверенность, что никто из здравых и беспристрастных людей не найдут, что я был Вашим орудием или хотя малейшим образом движимым Вами, придала мне смелости, и я ополчился не против Каченовского — на этот подвиг не нужно много смелости — но против Вас. Покоритесь необходимости быть должником Судьбы и расплачивайтесь за Славу, если не с врагами, то с друзьями. Но пуще всего простите мне великодушно. Право, при каждом удачном стихе дрожал я от страха, думая о Вас, и недавно в письме к Ивану Ивановичу Дмитриеву писал об этом страхе».

Взгляд же Карамзина на критику не переменялся: все читать, ни на что не отвечать. На контркритику времени не имеет. Более того, он согласен с мнением декабриста Никиты Муравьева: «Горе стране, где все согласны. Можно ли ожидать там успехов просвещения? <...> Честь писателю, но свобода суждениям читателей».

Отругиваться некогда и незачем — надо работать. Если б это правило легко давалось, если б имелась нужная доза безразличного равнодушия, тогда не было бы никакой проблемы, но и не было бы, наверно, Истории...

Немногие особенно близкие собеседники знали, сколько сдавленной нервности таилось под внешней маской благоразумия. Александр Тургенев однажды вдруг слышит, как историк досадует на холодные разборы в печати, после которых — не бросить ли работу? Наконец, по настоянию Дмитриева Карамзин составил целую тетрадь антикритики, услышал, что старый друг очень ею доволен — и тотчас кинул рукопись в камин!

Когда же Каченовский баллотируется в Российскую Академию, Карамзин объявляет, что «критика его весьма поучительна и добросовестна»: он не только сам за него голосует, но (воспользовавшись правом выступать от имени отсутствующих) присоединяет голоса Дмитриева, Жукковского, Оленина.

Зато найдя вдруг среди «десяти или двадцати» неинтересных комплиментов те слова, которые хотел бы услышать, историограф не может скрыть потаенных чувств. По поводу умного разбора во французской печати заметит: «Moniteur тронул... этот академик посмотрел ко мне в душу: я услышал какой-то глухой голос потомства».

Французский отзыв, конечно, отыскиали. Вот он: «Автор представляет

обширную картину своего отечества от глубокой древности до нашего времени. Его размышления, всегда основательные, продиктованы здравой философией и беспристрастием, его стиль серьезен, выдержан и одушевлен каким-то духом чистосердечия, *национальности* (если позволительно так выразиться), который показывает в историке не только ученого, но в первую очередь честного человека (*l'honnête homme avant le savant*)...

Так во французской газете зазвучали слова, позже подхваченные и переданные потомству Пушкиным: «Подвиг честного человека...», «простодушие, искренность, честность».

Вот о чем думал, как понимал себя и свой труд Карамзин и уверенно продолжал сочинять все в той же своей манере, накаляя и восторг и критику...

Нелегко, часто и невозможно определить, с какой стороны атакуют Историю. Правда, прежние доносы и полудоносы *справа* (насчет безбожия, якобинизма и проч.) притихли (автор поощрен царем!), ученая же критика, как правило, политических мотивов прямо не касалась... Зато теперь, с 1818 года, появились суждения, которых раньше не было.

Обвинения, которые никак не могли уж попасть в легальный журнал или газету.

МОЛОДЫЕ ЯКОБИНЦЫ

Пушкин: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал „Историю“ свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностью историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что „История Государства Российского“ есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».

Затем Пушкин кратко сообщает о критике Истории «умным и пылким» Никитой Муравьевым, о требованиях, предъявляемых к восьми вышедшим томам декабристом Орловым, о «некоторых остряхах», которые «за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью*, — конечно, были очень смешны».

В наше время пушкинские намеки и отсылки почти полностью расшифрованы и проанализированы в работах В. Э. Вацуры, С. С. Ланды и других исследователей. Тогда-то и раскрылась впервые серьезнейшая полемика первого историка с первыми революционерами.

Якобинцы-декабристы... Карамзин привез свою Историю в столицу 2 февраля 1816 года. Ровно через неделю, 9 февраля, образовалось первое тайное общество будущих декабристов — *Союз спасения*. «Шум... впечатления» от восьми томов разносится в те месяцы, когда сложился *Союз*

благоденствия: двести его членов и сотни сочувствующих все резче задают тон в журналах, гостинных, в армии...

Карамзин — сторонник просвещенного самодержавия; по его мнению, это исторически естественная для России форма правления.

Декабристы — противники самодержавия и рабства. Еще до выхода карамзинских томов они уже рисуют в своих письмах рядом с именем историографа знак ★ : *гасильник*, то есть враг света, свободы; Николай Тургенев, получив восторженное письмо брата Александра об Истории Карамзина как основе для будущей российской конституции, иронизирует: «Брат всем восхищается»; отсутствие «исторической философии» (главный научный упрек) декабрист объясняет просто: «Автор видел, что рассуждать хорошо — трудно, а иногда опасно, и потому молчал». «Хромой Тургенев» решает не посылать такому историку своей известной книги «Опыт теории налогов».

Дело осложняется еще и тем, что со многими из лидеров тайного союза Карамзин не только близко знаком, но видит их с пленок, подолгу живет в их домах, встречается чуть ли не ежедневно.

Более всего это относится как раз к Николаю Тургеневу (с этой семьей 30 лет дружбы), а также к Никите Муравьеву — сыну того, кто выхлопотал Карамзину *графство истории*. Кроме того, именно в 1818—1820-х «левые настроения» очень сильны у Вяземского, Пушкина...

Мы знаем, к примеру, что 16 ноября 1818 года Карамзин целый день проводит в разговорах с Николаем Тургеневым и Луниным; 20 ноября — опять с Тургеневым, и так постоянно...

Именно через посредничество Карамзина Никите Муравьеву передается царское разрешение — вернуться из отставки в военную службу. Для тех лет, когда еще не определились, резко не разделились общественно-политические лагеря, совершенно обычно, к примеру, что на Николин день (1819 г.) именинники Карамзин и Гнедич заезжают к имениннику Гречу и застают у него Николая Бестужева, Розена, Рылеева, Дельвига и Булгарина!

Подвиг честного человека — определяет великий поэт; но разве он хоть на миг сомневается и в честности «молодых якобинцев»? И разве у суровейших левых критиков Истории настороженность не чередуется с восхищением? Сохранились, между прочим, искренние радостные строки Тургенева и Батенькова о разрешении печатать Историю и шестидесяти тысячах отпущенных на то рублей; и кто язвительнее Николая Тургенева издевается над тупыми светскими толками о Карамзине?

Итак, *спор честных*: явление всегда примечательное и, как правило, обнаруживающее больше истины, нежели ясное противоборство черного и светлого.

Прислушаемся же...

Никита Муравьев за месяц с небольшим изучает все 8 томов, затем сверяет источники, пишет ответ. Ответ предназначен для того, чтобы пойти по рукам; автор показывает рукопись Карамзину и, разумеется, тот дает согласие на распространение...

Декабрист знакомит противника с сочинением, достаточно вежливым по форме. И тем не менее вот что в нем находим:

Карамзин: «История народа принадлежит царю».

Муравьев: «История принадлежит народам».

Николай Тургенев вторит: «История принадлежит народу — и никому более! Смешно дарить ею царей. Добрые цари никогда не отделяют себя от народа».

Карамзин: «История мирит (простого гражданина) с несовершенством видимого порядка вещей как с *обыкновенным явлением* во всех веках».

Муравьев: «Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом. <...> Можно ли любить притеснителей и заклепы. Тацита одушевляло негодование».

Если Каченовский ругает Карамзина за «пристрастие», то декабристы, наоборот, находят его чересчур холодным, объективным.

Восхищаясь описанием набегов древних славян на Византию, Муравьев пишет строки, под которыми Карамзин при всем своем патриотизме никогда не подпишется (хотя и, несомненно, оценит горячее одушевление спорщика!): «Видишь перед собою народ, какого не бывало еще в истории, — погруженный в невежество, не собранный еще в благоустроенные общества, без письмен, без правительств, но великий духом, предприимчивый; он заключает в себе все качества обладателя — какое-то чудное стремление к величию. Какой народ может гордиться, что претерпел столько бедствий, сколько славянский? Никакой народ не был столь испытан судьбою! Никакому, может быть, не готовит она такого воздаяния!»

«Воздаяние» — это, конечно, грядущее освобождение от самодержавия и крепостного права: вопрос главный!

Муравьева (как и Михаила Орлова, Николая Тургенева) привлекает древнейшая Русь — время народных свобод, вече; идеализируя старинную вольность, декабристы старались ответить на вопрос — отчего же после восторжествовал деспотизм?

Иные искали первопричину в варягах, начавших ограничивать прежде «незамутненную вольность»; однако Николай Тургенев и Муравьев уверены, что «причиною [рабства] было нашествие татар, выучивших наших предков безусловно покорствовать тиранской их власти».

Карамзин писал о том же, то есть почти о том же: что после прихода татар *неприметно* исчезают старые свободы. Но хотя историк, мы знаем, не раз вздыхает о Новгороде, Пскове, не раз дает высказаться уходящей вольности, все же видит в самодержавии «палладиум России», спасение страны, народа, с чем декабристам согласиться нелегко; а если и согласятся, то с горечью, гневом: «Россия достала свою независимость, но сыны ее утратили личную свободу надолго, может быть навсегда!» (Н. Тургенев).

Вот как писали, говорили декабристы «на людях», в присутствии Карамзина. Про себя же или в своем кругу высказывались куда резче, особенно когда «дискуссия о Карамзине» переходила с древних царствований на нынешние. Недавно опубликованный документ дает уникальную возможность познакомиться с этой полемикой уж в самых откровенных формах.

Около 1820 года Никита Муравьев перечитывает «Письма русского путешественника» (переизданные Карамзиным в 1814 году) и пишет

на полях замечания; к этим замечаниям опять присоединяется Тургенев, отвечает, даже не зная их, Карамзин.

Карамзин (описывая Париж 1790 года и королеву Марию-Антуанетту): «Нельзя, чтобы ее сердце не страдало; но она умеет скрывать горесть свою, и на светлых глазах ее не приметно ни одного облачка».

Муравьев (на полях): «Как все это глупо».

Декабристы не устраивают оценки личных качеств, когда сокрушаются миры; тем более это через 3 года королеву поведут на эшафот.

Карамзин (о наследном принце, Людовике XVII): «Со всех сторон бежали люди смотреть его, и все без шляп: все с радостью окружали любезного младенца, который ласкал их взором и усмешками своими. *Народ любит еще кровь царскую!*» [!]

Муравьев: «От глупости».

В связи же с грядущей расправой над Бурбонами умилительная фраза Карамзина о «крови царской» приобретает второй, зловещий смысл — и декабрист, ставя в конце ее восклицательный знак, кажется, это заметил. Тут писатель-историк, кстати, мог бы «перехватить инициативу»: ах вот как, народ любит «кровь царскую» *от глупости* (темноты, невежества, исторической отсталости) — но могут ли массы быстро поумнеть, перемениться, и на что должен рассчитывать политик — на сегодняшний или завтрашний дух народа?

Карамзин: «Один маркиз [заика], который был некогда осыпан королевскими милостями, играет теперь не последнюю роль между неприятелями двора. Некоторые из прежних его друзей изъявили ему свое негодование. Он пожал плечами и с холодным видом отвечал им: „Что делать? Я люблю мяте-те-тежи!“»

Муравьеву неприятна насмешка над дворянином-революционером (сам ведь из таких!), и он зачеркивает два лишних, заикающихся слога; не желает улыбаться вместе с русским путешественником.

Дальше — особенно острые строки.

Карамзин: «Но читал ли маркиз историю Греции и Рима? Помнит ли цикуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и — самого злодества».

Муравьев: «Вероятно, мораль скверная».

Ответ не очень уверенный, потому что ведь и сам декабрист не хочет вовлекать народ в российскую революцию; но он все же находит *скверной* мораль, которую настойчиво выводит отсюда Карамзин.

В разговоре с Николаем Тургеневым историк тогда же восклицает: «Вы сами не способны ни к какому преуспеянию. Довольствуйтесь тем, что для вас сделали ваши правители и не пытайтесь произвести какое-либо изменение, так как опасно, чтобы не наделали вы глупостей!»

Однако вернемся к «Письмам русского путешественника».

Карамзин: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть *святыня* для добрых граждан; и в самом *несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку*».

Подчеркнув последнюю фразу, Никита Муравьев не сдерживается, и прямо между строк вписывает — *дурак*.

Любимому другу дома, «евангелисту арзамасцев» (а ведь «беспокойный Никита» один из них!) — самому Карамзину отвешено дурака!

Николай Тургенев, утверждая, что Карамзин *умный* в истории, добавит (разумеется, «по секрету», в письме): «А в политике ребенок и гасильник». Брат-единомышленник Сергей Тургенев находит, что лучше бы историк оставил другим «проповедовать мрак, деспотизм и рабство».

А вежливый Николай Михайлович тоже иногда сердится на молодых и употребляет при том обороты очень сходные:

«Скороспелки легких умов...»

«И смешно и жалко!.. Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся».

Чуть позже: «Нынешние умники не далеки от глупцов».

Никита Муравьев, однако, не ограничился грубостью между строк, но еще и на полях откомментировал карамзинское «всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня».

«Турция святыня, — иронизирует декабрист, — и Алжир также».

Назвав два тиранических, рабских режима, Муравьев думает, что опровергнул историка. В других сочинениях лидер Северного общества не раз выскажется о гнусности всякого деспотизма. В проекте своей декабристской конституции запишет: «Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для общества. <...> Все народы европейские достигают законов и свободы. Более всех их народ русский заслуживает то и другое».

Николай Тургенев о том же: «Пусть толпы рабов, в коих чувство мелкого эгоизма заменило чувство достоинства человека и которые, так сказать, нежатся в подлости, пусть они восхищаются прелестями султанской власти и шелковый шнурок, посланный к визирю, почитают залогом порядка и счастья народов; — великий ум, прекрасная душа, любовь к отечеству должны были бы внушить нашему историку иные способы доказательства того, что он доказать хотел и чего, однако ж, доказать не мог».

Сильно, жестко звучат декабристские формулы: «Опыт всех народов и всех времен доказал...», «Пусть толпы рабов...». Но Карамзин не устает повторять свое: что общество, государство складываются естественно, закономерно и всегда соответствуют духу народа; что преобразователям, нравится или не нравится, придется с этим считаться. Он не сомневается, кстати, что и алжирский, и турецкий, и российский деспотизм, увы, органичны; эта форма не подойдет французу, шведу, так же как шведское устройство не имеет российской или алжирской почвы. В письме к лучшему другу историк язвит: «Хотят уронить троны, чтобы на их место навалить кучи журналов».

В «Письмах русского путешественника» мысль продолжена: «*Утопия* будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни».

Муравьев подчеркивает слова «во всяком правлении» и замечает: «Так глупо, что нет и возражений».

Ах, не так уж глупо — даже если не согласиться! Несколько лет спустя Пушкин заставит своего Гринева сказать по-карамзински: «Лучшие и

прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».

Революционер, конечно, возмущен «благополучием при всяком правлении»: а как же миллионы крепостных, 25-летняя солдатчина, военные поселения, затхлое взяточничество, «неправда в судах»? Не сам ли Карамзин в 1813-м, на пепелище Москвы, заметил народное ожесточение, надеялся на перемены?

Из-за этого всего, как видно, «схватились» осенью 1818-го умеренный историк и очень левый в то время родич Вяземский; Карамзин чуть позже досылает в письме «резюме» разговора (которое вполне подойдет и к заочному спору с Никитой Муравьевым): «Мы оба думаем, как нам думать свойственно. Мысль не дело; а дело будет не по нашим мыслям, а по уставу судьбы. Между тем желаю знать, каким образом вы намерены через или в 10 лет сделать ваших крестьян свободными; научите меня: я готов следовать хорошему примеру, если овцы будут целы и волки сыты. Это и шутка и не шутка».

Волки сыты, овцы целы, но декабристы вовсе и не стремятся к подобной гармонии, готова охота на волков!

После подобного же обмена мнениями с Карамзиным Николай Тургенев записывает (точно, как Никита Муравьев): «Не о чем говорить».

Во Франции, пишет «русский путешественник», «...жизнь общественная украшалась цветами приятностей; бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком». «Неправда!», — восклицает на полях Муравьев.

Действительно, неправда, иначе зачем бы восставать? Иначе — и в России мужики благоденствуют.

«Но дерзкие, — продолжает Карамзин, — подняли секиру на священное дерево, говоря: мы лучше сделаем!»

«И лучше сделали», — вписывает декабрист прямо между книжных строк.

И лучше сделаем — надеются члены тайных обществ.

И хуже будет — пророчит Карамзин, соглашаясь, что рабство — зло, но быстрая, неестественная отмена его — тоже зло.

Русский путешественник: «Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».

Муравьев подчеркивает слова о бунтовщике, эшафоте и пишет на полях: «Что ничего не доказывает».

Поразительное столкновение мнений и судеб. Карамзин, свидетель «роковых минут» великой революции, помнит реки крови, предсказывает новые, закликает не торопиться, пугает бунтовщиков эшафотом... Никита и не спорит, что, возможно, в перспективе — эшафот, Сибирь. И через четверть века, оканчивая дни в глухом селе Урик близ Иркутска, этот человек, который, по мнению друзей, «один стоил целой академии», может быть, и вспомнит предсказание, которое, впрочем, *ничего не доказывает*: можно, должно и на эшафот, и на Гарпейскую скалу, если дело справедливое...*

* Узнав о смерти сына, престарелая мать Екатерина Федоровна Муравьева передала его библиотеку в Московский университет, где недавно и был обнаружен экземпляр «Писем русского путешественника» с «ответами» на полях.

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

И последняя апелляция Карамзина к естественному ходу истории и времени: «Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидению...»

Никита Муравьев: «Революция была, без сомнения, в его плане». Главные слова произнесены.

Карамзин считает то, что есть, не случайным, естественным, и он прав. Да и Муравьев согласен; только декабрист в число естественных обстоятельств включает и саму революцию: французскую, что уже была, и русскую, которая впереди. Если «разумно и действительно» только сущее, то откуда же берутся *перемены*, кто их совершает? Не считает разве сам Карамзин, что 1789—1794 годы закономерны? Не признается ли Малиновскому, что «либерализм сделался болезнью века»?

Итак, оба правы. Но историк серьезно ошибается, переоценивая прогрессивные возможности самодержавия в XIX веке; декабрист же недооценивает страшную силу прошедшего, власть традиции, на которой в немалой степени держится старый мир.

Наконец, близ финала «Писем русского путешественника» их автор получает от декабриста чуть ли не упрек *справа*, укор внешне неожиданный (учитывая предыдущую полемику) за «чрезмерную нейтральность» к французским делам.

Карамзин: «Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностью! Среди шумных явлений твоих я жил спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной».

Муравьев (на полях): «А Москва сгорела!»

«Беспечность» 1790 года столь же не подходит декабристу, как и страшные, пугающие формулы о «гибельных потрясениях», эшафоте, провидении.

Вот оно, провидение: Париж 1790-х — Москва 1812-го... Из пожара же и народной войны начинаются новые уроки, о которых, однако, историограф не любит говорить.

Почему же не попытаться предсказать близкое будущее и тем его приблизить?

Карамзин, уже не в книге, а в жизни, объясняет Дмитриеву: «Не требую ни конституции, ни *представителей*, но по чувству останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского: вот противоречие, но только мнимое».

В другой раз — Вяземскому: «Дать России конституцию в модном смысле есть нарядить какого-нибудь важного человека в гаерское платье, или вашего ученого Линде учить грамоте по ланкастеровской методе. Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную и скорее может упасть, нежели еще более возвеличиться. Самодержавие есть душа, жизнь ее, как республиканское правление было жизнью Рима. Эксперименты не годятся в таком случае. Впрочем, не мешаю другим думать иначе. Один умный человек

сказал: „Я не люблю молодых людей, которые не любят вольности; но не люблю и пожилых людей, которые любят вольность“. <...> Если он сказал не бессмыслицу, то вы должны любить меня, а я вас. Потомство увидит, что лучше, или что *было* лучше для России. Для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу Национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец и таким умру».

Итак, спорить до ожесточения и «любить меня, а я вас» — любимые карамзинские парадоксы, с которыми так нелегко жить. И не таков предмет спора, чтобы до конца сохранялся политес.

Один из братьев Тургеневых, Сергей, перед отъездом в Константинополь демонстративно не заходит к Карамзиным проститься.

«Многие из членов [тайного общества], — запишет позже историк, — удостаивали меня своей ненависти или, по крайней мере, не любили; а я, кажется, не враг ни отечеству, ни человечеству».

Катерина Андреевна Карамзина пишет брату Вяземскому: «Кто знает, мой дорогой князь Петр, может быть, в один прекрасный день, когда мы соединимся в одном городе, вы не захотите более нас видеть... Нужно думать одинаково с вами, без этого не только вы не можете любить человека, но даже его видеть».

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА

Пушкин: «Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: „Итак, вы рабство предпочитаете свободе“. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Скоро Карамзину стало совестно и, прощаясь со мною, как обыкновенно, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности: „Вы сегодня сказали на меня, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили“».

Пушкинская зарисовка уникальна; Карамзин — очень симпатичен. Реакционеры Кутузов, Шишков, Шихматов называли его якобинцем, обстреливали *справа*; а теперь «молодые якобинцы» зачисляются в «невежды», сторонники рабства. Пушкин «оспоривал Карамзина» не только явно, но и тайно: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм: это не лучшая черта моей жизни».

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Поэт уклончиво говорит об авторстве — «мне приписали»; однако сегодня в науке по этому поводу почти нет сомнений.

Первые три пушкинские строчки Карамзин бы принял, в том числе и «необходимость самовластья», т. е. его историческую обусловленность; но последняя — обидна. Никогда он не восхищался кнутом. Впрочем, эпиграмма есть эпиграмма... Мы не знаем, что сказал историк, прочитав четверостишие, — но в 1819-м и начале 1820-го отношения с молодым Пушкиным сильно охлаждаются. Зато мы можем легко восстановить «любимые парадоксы» Карамзина: о монархисте сегодня — республиканце завтра; о праве на любое мнение, в чем он, Карамзин, куда больший

свободолюбец, чем его молодые противники. Однажды в сердцах заметит: «Те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и лимфе». И еще, при Пушкине и «молодых якобинцах», по крайней мере, два славных парадокса: «Если бы у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь» — то есть Россия *не готова, не созрела*, надо постепенно внедрять «медленные, но верные, безопасные успехи разума, просвещения, воспитания, добрых нравов». Резкая отмена цензуры выведет наружу черное, сдвоенное, рабское и т. п. К этому прибавим другое любопытнейшее изречение, которое в 1836 году Пушкин передал вот в каком виде: «Il ne faut pas qu'un honnête homme mérite d'être pendu».

Слова Карамзина в 1819 году:

«Честному человеку не должно подвергать себя виселице».

Карамзин в 1819-м (т. е. в разгар споров о его восьми томах) очевидно хотел по-другому сказать уже прежде им сказанное, что «всякие насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот», в то время как для честного человека возможны другие пути...

Но в ответ мы слышим с декабристской стороны, что «честный человек как раз *должен* подвергать себя виселице», что эшафот «ничего не доказывает...»

Тургенев, Муравьев, Орлов, Пушкин, Вяземский в 1818-м, 1819-м, 1820-м прямо говорили (или подразумевали в разговорах, письмах, намеках, эпиграммах) примерно следующее: если Николай Михайлович приводит доводы и факты против декабристских идей, он, как человек честный, вероятно, обязан одновременно оспаривать и самодержавно-крепостническую, аракатеевскую систему, иначе «рабство предпочитает свободе». Многие сказать «наверху» — такая возможность имела!

БЛИЗ ЦАРЯ

Двора, дворца Карамзин не любил — «не есмь от мира сего...». «Я не придворный! Историографу естественнее умереть на гряде капустной, им обработанной, нежели на пороге дворца, где я не глупее, но и не умнее других... Мне бывало очень тяжело, но теперь уже легче от привычки. Его уединение — в Царском Селе». Он признавался (все больше Дмитриеву), что ему близ царей бывало не по себе; что скучал от необходимости оставлять жену ради приглашения на иллюминацию в связи с бракосочетанием великого князя Николая Павловича; что не может серьезно относиться к придворному трауру, когда разрешаются танцы, но обязательно без музыки! Что отказался от почетного предложения — написать об умершей благодетельнице великой княгине Екатерине Павловне, так как не видит возможности при том не говорить о себе. Время от времени вдруг замечает охлаждение придворных: «У того я не был с визитом; другому не оказал учтивостей и проч.; иной считает меня даже гордецом, хотя я в душе ниже травы»; время от времени вообще считает, что растался со двором (и тогда-то особенно тянет в Москву).

Впрочем, царицы, Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна, постоянно приглашают к обеду. В Павловске все замирали за столом, слушая, как вольно, почти без этикета Карамзин беседует с царицей-матерью, например, «о нравственной философии». Жена Александра читала Ка-

рамзину свои дневники, но в некоторых местах, «слишком интимного свойства», протягивала историку тетрадь, и он дочитывал молча. Когда изумленный западный дипломат спросил, почему же допускается столь вольный разговор, какой ведет при царицах Карамзин, иностранцу объяснили: «Карамзину можно!»

Наиболее интересные отношения — с царем. Александр любезен, на балах постоянно танцует с Катериной Андреевной, и Карамзин даже думает, что монарх к ней неравнодушен. Чаще всего видятся летом, в Царском Селе, где Александр имел обыкновение в семь утра встречаться и прогуливаться с историком, подолгу беседуя «в зеленом кабинете», то есть под деревьями старого парка (к величайшей зависти придворных, готовых очень многое отдать хотя бы за пятиминутную прогулку с императором!). Бывает, царь появляется внезапно: однажды вспугнул стайку арзамасцев, в другой раз — «лицейского Пушкина»...

Царь снова присматривается к историографу, пытается понять место этого странного человека среди обширного дворцового многообразия — и не может. А ведь с тайными и действительными тайными советниками, с министрами и генералами Александр не может подружиться — никому не верит (только Аракчееву!); с низшими же не может по другой причине: во-первых, тоже не верит, во-вторых, для сближения должно их повесить, а тогда явится корысть и т. п. Что за дружба?

Карамзин — не министр и не мелкий чиновник. Он — *между* или, скорее, *вне*... Еще и еще раз царь убеждается, постоянно, каждодневно, что этот человек органически правдив и что, в сущности, он нужен царю больше, чем царь ему.

Александр кажется, что вот — второй друг (рядом с Аракчеевым!). Историк говорит смело, но на душевное сближение идет неохотно и уверен, что, соблюдая дистанцию больше, чем хочется самому императору, он свободнее, спокойнее...

После увольнения одного симпатичного Карамзину лица историк записывает: «Мне сказывали, что он считается вольномыслящим. Не мудрено, если в наше время умножится число лицемеров». Именно так было бы сказано царю, если бы тот спросил мнение историографа; если же не спросит, Карамзин промолчит: «По моей системе, будет единственно то, что угодно богу. Государь желает добра».

Однажды царь поинтересовался, отчего Карамзин решительно ничего не просит и даже остро намекнул, что «друг человечества» теряет, таким образом, возможность помочь другим.

И Карамзин принялся просить, да как! Действительный статский советник Рябинин был отставлен из-за каких-то денежных дел. Карамзин ходатайствовал чисто по-карамзински: прямо объявил императору, что сути дела не представляет, с Рябининым не знаком, но Катерина Андреевна знает этого человека очень давно и утверждает, что он благороден. Царь простил Рябинина, Карамзин же написал Дмитриеву, что «из всех милостей Александровых ко мне — эта есть главная».

Вскоре историографа уж одолевают ходатаи, и он сообщает Дмитриеву: «Знаешь ли, что могло привязать меня к Петербургу? Между нами будь сказано, случай делать иногда добро людям».

Ему удалось устроить Жуковского педагогом при царской семье; по ходатайству Карамзина молодого приятеля Николая Кривцова назна-

чают губернатором в Туле; оказана помощь в устройстве на лучшее место, выхлопотаны средства родному Вяземскому, не менее близкому Александру Тургеневу, *беспокойному* Никите Муравьеву, юному историку Погодину; не раз придется хлопотать за Пушкина. Не все получается: многие близкие люди все равно обижены, удалены... Но немало и получалось, кое-какие несправедливости пресечены.

Капля в море, но благородная капля. Однако *те*, «молодые якобинцы», говорили не о пенсиях, чинах, орденах. Они вдруг спрашивали: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе?»

Каким же эхом подобные вопросы повторялись в «зеленом кабинете»?

«В Царском Селе нет даже и пыли, — шутит историк. — Смотрим на все чистыми глазами и ничем не ослепляемся».

Разговоры с царем на общие темы происходили с глазу на глаз. О них, разумеется, нельзя было никому рассказывать, разве что самым близким (тут уникальное значение приобретают дневниковые записи секретаря Карамзина К. С. Сербиновича; они относятся к последним годам его жизни, но, между прочим, касаются и более ранних лет).

И вот отметим известный «перекос»: о спорах историка с «молодыми якобинцами» мы знаем немало, а разговоры с царем едва слышны; это тайна... В результате позиция Карамзина выглядит более односторонней, чем была. Нарушено «равновесие» суждений и доводов, обращенных к обеим сторонам.

Меж тем Карамзин толковал с царем обо всем. «Не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения иль затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные».

Другого надо бы проверить — Карамзина не надо, скорее наоборот, он столь редко говорит о собственных заслугах, что можно за него и *прибавить*, тем более что сохранились кое-какие подробности. Вяземский свидетельствует, что «многое оспаривая у Лагарпа, [Карамзин] не сочувствовал крутым мерам Аракчеева»: бывший учитель царя *Лагарп* — это либеральный, европейский вариант, то есть тут историк говорил, что многое западное для России не подходит; но притом Аракчеев — это Аракчеев. Вообще «два друга» Александра не часто виделись; у историка своя сфера, у Аракчеева своя. Последний, обеспокоенный критицизмом Карамзина, однажды везет его в «образцовое поселение» близ Петербурга и, конечно же, там не к чему придрагаться (Карамзин удивляется селениям на месте осушенных болот). Однако во всей поездке историка поразило более всего одно неожиданное обстоятельство: «Я не мог не заметить, что граф сам был в числе недовольных» (запись Сербиновича). Очевидно, Аракчеев, чтобы расположить собеседника, говорил о тяжелой жизни крестьян, солдат и благородной идее облегчения их участи.

Впрочем, в те же дни Карамзин читает восторженный, по его мнению, отчет Сперанского о военных поселениях и комментирует: «Этот государственный человек, так блистательно начавший и продолжавший свое поприще, взял, наконец, на себя обязанность аракчеевского секретаря».

Искренне, даже шумно радуясь, когда введение того или иного налога откладывается, Карамзин вообще, про себя, кажется, куда больший пессимист, чем в спорах с декабристами. Когда один из ближайших друзей приветствует освобождение прибалтийских крестьян (без земли), историограф охлаждает его пыл, справедливо сомневаясь, что эта реформа — пример для россиян. Намерения Александра он постоянно считает благородными (наверное, сомнения подступали, но Карамзин еще и умел наделять собеседника собственным прямотушием). Итак, «царь желает добра», но утверждает, будто «некем взять», то есть мало достойных людей наверху; и тут уж в «зеленом кабинете» звучит много нелестного о знатнейших вельможах, опасливо глядящих издали на эти вольные диспуты и частенько старающихся заискивать перед историком-фаворитом. Мы же вычисляем, что *говорилось*, когда находим у Карамзина сравнение старого вельможи Н. П. Румянцева с новыми: «Это остатки старого, лучшего мира. Нынешние вельможи, буде их можно так назвать, не имеют в себе ничего пиитического, ни исторического. <...> Странные изменения в свете и в душах! Но все хорошо, как думаю, в почтовой скачке нашего бытия земного».

«Некем взять» означало, как видно, не только сомнение в способностях: это было ясное ощущение, что существует *аппарат*, камарилья — молчаливые до поры до времени могучие придворные и государственные силы, угрожающие любому, кто посягнет на их власть, собственность.

Несколько лет назад эти люди скинули Сперанского, отменили его опасные реформы, причем Карамзин, вольно и невольно, им в этом деле немало помог. Теперь он сам при дворе, сам желает благодетельных реформ и видит вельмож, не имеющих ничего «пиитического, исторического».

Царь боится их, колеблется — «некем взять!»

Все это, естественно, выводит собеседников к проблемам *исправления*. Историк удерживается от старинного искушения — предложить ясные рецепты: «...Вероятно, государь займется основанием лучшей администрации. Я стараюсь ничего не ждать, не умиляться, не предугадывать, не предвидеть». Только в дружеском письме к Малиновскому признается: «Мне часто кажется, что государи могли бы весьма легко устроить благоденствие гражданских существ: но это, думаю, не угодно Провидению. Покой нас ждет в другом мире».

Однако кое-что было высказано царю и в *этом мире*.

Разумеется, Карамзин не согласен с *левым* мнением Вяземского о скорейшей конституции («...чтобы и на нашей улице был праздник. Что за дело, что теперь мало еще людей! Что за дело, что сначала будут врать! Люди родятся и научатся говорить»). Нет, Карамзин, который собирался и умереть *республиканцем*, то есть сторонником многостороннего обсуждения главных дел страны многими людьми, не видит пользы для России в завтрашней конституции, парламенте; он надеется на менее радикальные и более надежные, по его мнению, лекарства: просвещение, литературу, печать, притом и в столь близких ему сферах он, как знаем, побаивается «чрезмерных вольностей» (в случае полной отмены цензуры — «в Константинополь»).

Все время, однако, приходится отстаивать и *такую малость*. Карамзин — *Дмитриеву*: «Шишков утверждает, что „давно обнаруживал не-

честье!“ Другие думали, что надлежит закрыть классы, где преподавались якобинство и атеизм, т. е. классы истории и статистики; но люди благо-разумные не согласились с ним».

То есть Карамзин, очевидно, внушал царю, что нельзя слушать Шишкова, а царь не послушал Карамзина, сильно прижал, но все же не до конца («помешали люди благоразумные!..»).

«Бегство в Константинополь» от слишком свободной цензуры явно не угрожало. Зато в другом письме Дмитриеву «к слову» вспоминает граф Хвостов, бездарнейший пиит, «живая пародия»: «Я уважаю Хвостова, и более многих тех стихотворцев, которых имена вижу в журналах и которых *также* не читаю; он действует чем-то разительным на мою душу, чем-то теплым и живым. Увижу, услышу, что граф еще пишет стихи, и говорю себе с приятным чувством: „Вот любовь, достойная таланта!“ Он заслуживает иметь его, если и не имеет. В этом смысле написал некогда в альбом своей ближней: „Желаю тебе быть достойной счастья еще больше, нежели быть счастливой“».

Наверное, Карамзин умел защитить перед Александром кое-какую литературу и образованность, но по всем признакам Аракчеев, Шишков лучше умели обвинить...

Сербинович оставил нам очень сильную запись, открывающую, как томился Карамзин из-за всего этого: «Без свободы в деле просвещения нельзя быть успеху. Покровительствуя исключительно одну систему, один образ мыслей и воспрещая все другие, нельзя дать правде обнаружиться и защитить себя от возражений тайных. Не стесняя никого, должно позволить каждому идти своей дорогой, преподавая между тем народу всевозможные средства к образованию».

Общее пессимистическое, усталое расположение царя (передававшееся, конечно, дворцу) выдвинуло в это время на первый план отнюдь не хорошие книги, статьи, мысли, а истового архимандрита Фотия, разговоры о мистике, загробных чудесах.

Члены царской фамилии апеллировали к верующему, как они знали, Карамзину и сталкивались со здравым рассудком умного человека (полвека спустя Вяземский объяснит Бартеневу: «Ведь Карамзин был только деист»). Он еще *сдерживается*, но все-таки в письмах-исповедях Дмитриеву нет-нет, а проскальзывают иронические словечки насчет «чуда магнетизма» и «мистической вздорологии» при дворе: «смеюсь над святошами новыми: смеюсь про себя, разумеется». Царица верит в чудеса, Карамзин же прекрасно объясняет и эту веру, и многие будущие (до летающих блюд включительно) как «подпорки слабых душ»: «В свете все идет своим чередом, но обыкновенного и естественного не довольно для людей слабых. Мы все как младенцы, вопреки рассудку, падки на дивное. Зная мало, мы расположены к вере до суеверия».

Когда его упрекали за слабый интерес к загробным тайнам — отвечал, что мечтает «спросить на том свете, зачем мы живем на этом».

Выходит, Карамзин говорил наверху обо всем; говорил сильно, как свойственно честному человеку. Он вообще — за эту систему и позволяет себе смелую критику именно потому, что за; потому, что мечтает об исправлении. Противник же системы, скажем декабрист, так откровенно никогда не станет объясняться, опасаясь, во-первых, слишком себя обнаружить, а во-вторых, не видя проку в том, чтобы уговаривать врага...

Карамзин говорил сильно с обеими сторонами; слева все больше сердились, возражали, писали меж строк «дурака»; справа — вежливо выслушивали, улыбались, награждали, пожимали плечами, и все шло своим чередом.

В чем историк, впрочем, и не сомневался. Он совсем не был наивен. Все своим чередом, все будет, как будет, но и он не станет ни о чем молчать...

Когда царь спрашивает — он *отвечает*; однажды резко высказывается о том, о чем не спрашивают.

История самого острого его столкновения с царем позже стала известна узкому кругу современников — полностью же опубликована только в конце XIX века. Вопрос об Александре I в роли царя польского (каким он стал с 1815 года) крайне сложен и предметом нашего рассказа не является. Скажем только, что причудливым образом и декабристы, и Карамзин — всякий со своей позиции — тут сошлись на недовольстве царской политикой, на своеобразной ревности к Александру за его особое будто бы снисхождение к новым подданным.

Консервативно-патриотические мотивы сложно переплелись с резко оппозиционными (так же, как несколько лет назад, в записке «О древней и новой России»).

Любое осуждение царской политики, повторяем, было риском, хотя, конечно же, критика *справа* в этих случаях более безопасна...

Тем не менее Карамзин в беседе с царем (которая длилась после подачи им *Записки о Польше* «с восьми до часу за полночь») заметил, что нисколько царя не боится, что так же написал бы и его отцу, «грозному Павлу I». Особенно дерзкой была фраза: «Ваше величество, у Вас много самолюбия — у меня никакого. Мы равны перед богом... Я люблю только ту свободу, которой ни один тиран не сможет меня лишить».

Подав царю *Записку* (17 октября 1819 года), историк занес в Дневник: «Мы душою расстались, кажется, навеки». Чуть позже прибавлено (уже после смерти Александра): «Я ошибся: благоволение Александра ко мне не изменилось, и в течение шести лет (от 1819 до 1825 года) мы имели с ним несколько подобных бесед о разных важных предметах. Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большей частью и не следовал, так что ныне, вместе с Россиюю оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца: ибо эта милость и доверенность бесплодны для любезного отечества».

Царь не раз признавал правоту историка: историограф царю нужнее, чем царь ему. Карамзин — человек высоких добродетелей — возвышает царя в собственных глазах, улучшает *репутацию* в образованном обществе... К тому же царь мечется, нетверд, подозрителен, а историк спокоен, открыт, знает, чего хочет. Александр ищет моральной поддержки...

И затем продолжает отыскивать ее у Аракчеева.

К тому же Александр рано узнает о первых декабристских обществах; и — загадка донныне — против них ничего почти не предпринимает. Одному из приближенных царь признается: «Не мне их судить!»

Карамзин, без сомнения, тоже знал о конспирации. Трудно пред-

ставить, чтобы царь, хотя бы обиняком, не пожаловался на известные ему «козни» многих знакомых историка. И разве Пушкин не сказал после, что о заговоре «кричали по всем переулкам»?

Куда более глубокой была тайна престолонаследия. Однажды царь объявляет, что доверит Карамзину важнейший государственный секрет. Карамзин — в своем духе! — останавливает Александра и предупреждает, что обязательно поделится с Катериной Андреевной. Царь не возражает.

Тайну знали еще 5—6 человек (большинство министров, высочайших персон империи — не знали). А Карамзин знал и, конечно, сохранил слово.

Тайна была в том, что Александр объявлял наследником не Константина, а Николая. Секретнейшие пакеты были в 1823-м спрятаны в Сенате, Государственном совете и Московском Кремле. Сверх того Александр — нет никаких сомнений — поведал историографу свою давнюю мечту: оставить трон, отречься, зажить жизнью частного человека. Впервые этот мотив встречается еще у 19-летнего внука Екатерины II, мечтающего удалиться «с придворной сцены» в какой-нибудь тихий европейский уголок: «Я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом». Затем этот мотив всплывает не раз. Теперь, когда дела в стране ухудшаются, зреют заговоры (и не ему их судить), теперь, казалось бы, *самое время...* Карамзин для такого разговора, конечно, лучший собеседник: друг простоты, президент дворца, еще продолжающий воображать «милую, тихую Москву».

Утопия царская — медленная подготовка страны к новым формам проекты государственных преобразований, более потаенные, чем у самых «злонамеренных заговорщиков»; желание *вовремя* уйти, скрыться.

Утопия Карамзина: личная — о сентиментальном идиллическом финале жизни; общественная — о будущей республике, которую подготовит и взрастит просвещенное самодержавие.

Наконец, *утопия декабристская*: убеждение, что Россия созрела для коренных перемен; преувеличенные представления о принципиальной легкости Дела, о возможности освободить народ без его непосредственного участия.

Но напомним о логике нашего повествования. Обрисовав споры Карамзина с декабристами, мы пытались показать, что он так же спорил, обо всем говорил и с царем. Позже Вяземский скажет, что Карамзин был «представителем и предстателем русской грамоты у трона безграмотного».

Крупнейшим же противвесом тем «любимым парадоксам», что не нравились «молодым якобинцам», станет следующий, самый трудный и страшный том «Истории Государства Российского»: Россия 1560—1584 годов.

«Государь, — пишет Карамзи: Дмитриеву, — не расположен мешать исторической откровенности; но меня что-то останавливает. Дух времени не есть ли ветер? А ветер переменяется. Вопреки твоему мнению нельзя

писать так, чтобы невозможно было прицепиться. Впрочем, мне еще надобно много писать, чтобы дописать царя Ивана».

На годичном заседании Российской Академии, 5 декабря 1818-го, историк спокойно произносит: «Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского: для того ли, что не хотел, или для того, что не мог, ибо и власть самодержцев имеет свои пределы». Присутствовавший на заседании Александр Тургенев комментирует эпизод Вяземскому: «В Европе это сочли бы за общее место, пошлою истинною; у нас верно дерзостию, которую вслух говорить опасно. Со временем это станут цитировать между христианскими чертами нашего времени, *беременного будущим*»... Образ «беспредельного самодержца» оказывается чрезвычайно злободневным.

«НУ, ГРОЗНЫЙ! НУ, КАРАМЗИН!»

28 ноября 1818-го: «Описываю злодейства Ивашки».

27 января 1819 года: «Пишу об Ивашке».

1820. 8 января. Карамзин опять с большим успехом читает из IX тома в годичном заседании Российской Академии. Через день царь на Фонтанке встречает Екатерину Андреевну и поздравляет ее с успехом мужа.

20 марта. Дописывает пятую главу — об окончании Ливонской войны, убийстве сына Ивана... Впереди — еще две.

Май. Увлеченно пишет и охотно говорит о завоевании Сибири Ермаком.

25 мая. Увлечен работой: «...все еще жалею, что утро коротко» (из письма А. Малиновскому).

27 июня: «Видно, [Карамзину] так же трудно описывать царствование Ивана Васильевича, как было современникам сносить его» (шутка Д. Н. Блудова).

9 июля — глава о Сибири окончена: «Вот еще одна поэма Ермаку».

Октябрь. Отчитывается Малиновскому: «Вывезу отсюда [из Царского Села] Ермака с Сибирью и смерть Иванову, но без хвоста, который еще требует добрых недель шести работы».

10 декабря 1820 года: Девятый том окончен — настроение хорошее, и в Москву к Малиновскому уж передается просьба выслать «все материалы для описания Феодорова царствования».

Меж тем Катерина Андреевна рождает снова — дочь Елизавету (старая шутка графа Каподистрия, что Карамзин «считает годы новорожденными детьми и томами российской истории»).

В Петербурге слухи, будто девятый том «уже запрещен».

9 мая 1821 г. Девятый том поступает в продажу (через 6 дней его читает Николай Тургенев; через 16 — возвратившийся с очередного конгресса император). Книготорговцы выдали рекламу, вероятно, по указаниям или даже под диктовку самого автора: «Сей девятый том заключает в себе историю царствования Иоанна Васильевича Грозного с 1560 года по его кончину: период важный по многим государственным делам, любопытный по разнообразным лицам и происшествиям; в нем изображение ужасного по грозному характеру и деяниям царя! Сей том обогащен такими историческими сведениями и чертами, которые донныне

вовсе не были известны или, по крайней мере, известны весьма сбивчиво и недостаточно».

472 страницы текста и 287 страниц примечаний. Цена одной книжки — 15 рублей.

Том начинается словами: «Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства».

Прежние историки и публицисты не решались откровенно описывать эту эпоху. М. М. Щербатов хорошо знал, но в своей истории не очень углублялся в подробности, обходил (только в потаенном сочинении «О повреждении нравов в России» сообщил некоторые эпизоды, будто предвосхищая Карамзина). Русские цари XVIII—XIX веков постоянно подчеркивали преемственность в отношении прежних правителей, и тем самым «обида» Ивану Грозному становилась политическим делом и для Петра I, и для Екатерины II, и для Александра I.

Карамзин же пишет свободно и страшно. Об «изверге вне правил и вероятностей рассудка», о «шести эпохах душегубства», когда царь, в очередной раз казнив своих сподвижников, набирал новых: «сокрушив любезное ему дотле орудие мучительства, остался мучителем».

Перелистаем же девятый том:

«Никто не противоречил: воля царская была законом. <...> Начались казни мнимых изменников, которые будто бы вместе с Курбским умышляли на жизнь Иоанна, покойной царицы Анастасии и его детей. Первою жертвою был славный воевода, князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, потомок св. Владимира, Всеволода Великого и древних князей Суздальских, знаменитый участник в завоевании Казанского царства, муж ума глубокого, искусный в делах ратных, ревностный друг отечества и христианин. Ему надлежало умереть вместе с сыном Петром, семнадцатилетним юношею. Оба шли к месту казни без страха, спокойно, держа друг друга за руку. Сын не хотел видеть казни отца, и первый склонил под меч свою голову. Родитель отвел его от плахи, сказав с умилением: „Да не зрю тебя мертвого!“ Юноша уступил ему первенство, взял отсеченную голову отца, поцеловал ее, взглянул на небо и с лицом веселым отдал себя в руки палача».

«Судили Иоанн и сын его таким образом: ежедневно представляли им от пятисот до тысячи и более новгородцев; били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и бросали с моста в воду, целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Ратники московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами: кто из вверженных в реку всплывал, того кололи, рассекали на части. Сии убийства продолжались пять недель и заключились грабежом общим».

«Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копием одного старца. Умертвили в четыре часа около двухсот человек. Наконец, совершив дело, убийцы, обливаяны кровию, с дымящимися мечами стали пред царем, восклицая: *гойда! гойда!* и славили его правосудие. Объезав площадь, обозрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей: желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого; приехал к ним в дом, смеялся над их слезами; мучил первую, требуя соковищ; хотел мучить и пятнадцатилетнюю дочь ее, которая стенала и вопила;

но отдал ее сыну, царевичу Иоанну, а после вместе с матерью и с женою Висковатого заточил в монастырь, где они умерли с горести».

«Услышав обвинение, увидев доносителя, Воротынский сказал тихо: „Государь! дед, отец мой учили меня служить ревностно богу и царю, а не бесу; прибегать в скорбях сердечных к алтарям всевышнего, а не к ведьмам. Сей клеветник есть мой раб беглый, уличенный в татбе: не верь злодею“. Но Иоанн хотел верить, доселе щадив жизнь сего *последнего* из верных друзей Адашева, как бы невольню, как бы для того, чтобы иметь хотя единого победоносного воеводу на случай чрезвычайной опасности. Опасность миновалась — и шестидесятилетнего героя связанного положили на дерево между двумя огнями; жгли, мучили. Уверяют, что сам Иоанн кровавым жезлом своим пригребал пылающие уголья к телу страдальца. Изожженного, едва дышащего взяли и повезли Воротынского на Белоозеро: он скончался в пути. Знаменитый прах его лежит в обители св. Кирилла. „О муж великий!“ — пишет несчастный Курбский».

И так почти на каждой странице: казни, казни, сожжение пленных при известию о гибели Малюты; приказ уничтожить слона, отказавшегося опуститься на колени перед царем, семь жен Иоанна, опричные игры... Страшные десятилетия (когда, между прочим, и начался дворянский род Карамзиных).

И все же при всех доказательствах не стужены ли краски? Не преувеличены ли ужасы? Можно ли верить в беспристрастность летописцев? Первым поднял голос все тот же скептик Каченовский (за что был несправедливо заподозрен друзьями Карамзина, будто он «нравственный защитник» Ивана Грозного).

Позже русские, советские историки писали о той эпохе немало и, действительно, нашли, что иные ужасы преувеличены, что, например, зимой 1570 года в Новгороде истребили не десятки тысяч (как пишет Карамзин вслед за современниками событий), а несколько тысяч человек; к тому же отмечались и прогрессивные черты в политике Ивана — централизация, ослабление боярства, присоединение новых земель, Судебник... Наконец, Карамзина упрекали за то, что он судит грозного царя по моральным меркам своего просвещенного времени, тогда как в XVI веке подобная резня — дело обыкновенное (чего стоит Варфоломеевская ночь 1572 года в Париже!).

Дискуссия не окончена, здесь нет возможности в нее углубляться. Но все же предложим несколько соображений насчет карамзинского Иоанна IV.

Карамзин был *первым*: следующие уточняли, уже основываясь на его девятом томе.

Число жертв, действительно, завышено, но и без того достаточно велико (в стране ведь 5—6 миллионов жителей): в советское время академик С. Б. Веселовский и другие исследователи показали, что и та кровь, которая пролилась на самом деле, многое подорвала в стране, имела неизмеримые моральные последствия; когда Карамзин цитирует летописцев, свидетелей описываемых зверств, он ведь исходит из впечатлений того давнего современника событий... Преувеличение? Но, значит, очевидно, многим очевидцам именно так казалось; это было их мнение, но притом и социальное впечатление! Если современникам представлялось все в крови, и они удесятерили число жертв, здесь мало воскликнуть, что

ошибаются. Надо понять — отчего они ошибаются именно «в эту сторону». И тогда явится истина, не менее, а, может, более важная, чем точная статистика казней: предстанет общественная атмосфера террора и ужаса.

Что касается *прогресса*, то Карамзин постоянно, даже подчеркнуто говорит и о верных, разумных действиях Грозного, а если эти слова все-таки тонут в предшествующих и последующих кровавых сценах, значит, так представлялся историку общий «колорит» этого царствования; то, чего он не желал принять ни при каких оправданиях.

Наконец, насчет того, что в XVI веке зверства расценивались иначе, чем в XIX-м. Но ведь обвиняющий, даже преувеличивающий голос современников как раз говорит о том, что террор был непривычен, далеко выходил за рамки «допущений» той эпохи. Впрочем, в 761-м примечании Карамзина к девятому тому находим: «Людовик XI не уступал Иоанну в свирепости. Вот одна черта: в 1477 году, казнь герцога Немурского (Jacques d'Armagnac), он поставил его детей внизу эшафота, чтобы кровь несчастного отца излилась на них!.. Платон говорит, что есть три рода безбожников: одни не верят в существование богов; другие воображают их беспечными, равнодушными к деяниям человеческим; третьи думают, что их можно всегда умиловить легкими жертвами или обрядами благочестия: Иоанн и Людовик принадлежали к сему роду безбожников».

Сравнений с Варфоломеевской ночью, столь любезных некоторым публицистам, Карамзин, как человек сведущий и объективный, конечно, не приводит: Иван Грозный резал — и в ночь с 23 на 24 августа 1572-го в Париже резали. Так! Но во втором случае была гражданская война: пусть подлое нарушение перемирия, но все же не «простая» казнь беззащитных; кроме того, Франция, не знавшая татарского ига, в 1572 году имела ряд *достижений*: начавшийся капитализм, буржуазия, вольности, городские парламенты, университет — то, что Россия еще не скоро узнает (расплата за черные, подневольные века...). Иначе говоря, страшную резню 1572-го общественный, государственный организм Франции перенес все же куда легче, чем более отсталая российская структура — террор Ивана Грозного. Здесь разные *контексты* внешне сходных событий. Трудно доказать, что после Варфоломеевской ночи во Франции произошло усиление деспотизма, были задеты коренные моральные устои; о России же 1560—1584 годов историк имеет право сказать, что террор «губительною рукою касался... самых будущих времен: ибо туча доносителей, клеветников, кромешников, им образованных, как туча голодных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе; и если иго Батыево унизило дух россиян, то, без сомнения, не возвысило его и царствование Иоанново».

Поэтому обвинения Карамзина при частных неточностях *верны в целом*.

Но остался еще один «вопрос вопросов»: можно ли было такое переносить, даже в XVI веке, как же не восстать? Карамзин видит и эту проблему, пишет о *сопротивлении*: «Еще некоторые говорили о долге и чести; их не слушали — но они говорили, что думали, и явили пример достойный лучших времен Рима».

Другой вид обороны: «Ужас, наведенный жестокостями царя на всех россиян, произвел бегство многих из них в чужие земли. Князь Димитрий Вишневецкий служил примером: усердный ко славе нашего отечества

и любив Иоанна добродетельного, он не хотел подвергать себя злобному своенравию тирана: из воинского стана в южной России ушел к Сигизмунду, который принял Димитрия милостиво как злодея Иоаннова и дал ему собственного медика, чтобы излечить сего славного воина от тяжкого недуга, произведенного в нем отравой. Но Вишневецкий думал лишь о крови единоверных россиян: тайно убеждаемый некоторыми вельможами Молдавии изгнать недостойного их господаря Стефана, он с дружиною верных козаков спешил туда искать новой славы и был жертвою обмана; никто не явился под знамена героя: Стефан пленил Вишневецкого и послал в Константинополь, где султан велел умертвить его. Вслед за Вишневецким отъехали в Литву два брата, знатные сановники, Алексей и Гаврило Черкасские, без сомнения, угрожаемые опалю. Бегство не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного: *спасаться от мучителя*; но горе гражданину, который за тирана мстит отечеству!»

Карамзин считает естественным бегство Курбского, но никогда ему не простит вступления во вражескую армию.

Еще и еще примеры пассивного сопротивления: Адашев, Сильвестр не роняют чести и отказываются участвовать в кровавой вакханалии; митрополит Филипп не желает благословлять палача: «Я давно ожидаю смерти: да исполнится воля государева!» Она исполнилась: гнусный Скуратов задушил святого мужа; но, желая скрыть убийство, объявил игумену и братии, что Филипп умер от несносного жара в его келье. Устрашенные иноки вырыли могилу за алтарем и в присутствии убийцы погребли сего великого иерарха церкви российской, украшенного венцом мученика и славы: ибо умереть за добродетель есть верх человеческой добродетели, и ни новая, ни древняя история не представляют нам героя знаменитейшего».

Карамзин взволнован — и не желает холодного измерения, кто больший или меньший герой; подобно Алеше Карамазову, он близок к тому, чтобы, вопреки самому себе, прошептать крайние, «революционные слова»: «Зрелище удивительное, навеки достопамятное для самого отдаленнейшего потомства, для всех народов и властителей земли; разительное доказательство, сколь тиранство унижает душу, ослепляет ум привидениями страха, мертвит силы и в государе, и в государстве! Не изменились россияне, но царь изменил им!»

Царь-изменник!

Карамзин затем «спохватывается», но не смягчает написанного: «Меж иными тяжкими опытами судьбы, сверх бедствий удельной системы, сверх ига моголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя: устояла с любовию к самодержавию, ибо верила, что бог посылает и язву и землетрясение и тиранов; не преломила железного скиптра в руках Иоанновых, и двадцать четыре года сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением, чтобы в лучшие времена иметь Петра Великого, Екатерину Вторую...»

Сохранился черновик этого листа: Карамзин после Екатерины вписал Александра, вычеркнул, снова вписал...

И наконец, сделал так, как и попало в печать: «Чтобы в лучшие времена иметь Петра Великого, Екатерину Вторую (История не любит именовать живых)».

Намек всем понятен, но никто не обвинил в «ласкательстве»; фраза даже несколько двусмысленна: «История не любит...», то есть будущее еще оценит, скажет по-своему — и неведомо как...

Но вообще в приведенном отрывке монархическая идея Карамзина представлена резко, сгущенно и страшно. Довод «в пользу самодержавия» — что даже против Ивана не восстали, даже его терпели!

Хорошо это или плохо? Историк находит громкие доводы в пользу естественности самодержавия, но отнюдь не умиляется, что все сошлось с ответом... Противоречия собственного рассказа его не смущают. Живые чувства, столкновения человеческого и «государственно-исторического» от этого становятся горячее, правдивее...

Но зачем же он, монархист, консерватор, не остановился перед описанием тирании?

Цель свою историк не скрывает; он дает отрицательный образец — как не следует царствовать; урок всяким царям и полезное подспорье просвещенным... «Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истиною дееспособный может, в правлении самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в Истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои иступления».

К этим строкам Карамзин дает примечание 762, и читатель легко находит в конце книги: «См. историю французской революции». Пессимизм, возможность и опасность *повторения* соседствуют, как видим, с оптимистической надеждой («предупреждает иногда...»), с верой, что просвещение делает тиранию все менее возможной...

Карамзин оканчивает девятый том. Вот последние строки: «В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в *народной памяти*: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмилась новейшими; но имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех царств могольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя; чтит в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название *Мучителя*, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доньше именуется его только *Грозным*, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!

Конец IX тома».

Вот как писал и печатал Карамзин в 1821 году.

Больше всех именно этот, *девятый* том подтверждает пушкинское: «несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий».

Интереснейшее тому доказательство — отклики современников...

Царь, точно известно, сделал несколько замечаний на полях, и Карамзин спросил, следует ли здесь видеть приказ? Александр, однако, боится задеть своего историографа и «предпочитает печатать, как есть в рукописи». Успех восьми томов, общественная и литературная репутация Карамзина не позволяли остановить девятый (который прозорливо не был включен автором в *первый комплект* — тогда «ужасы» могли бы задерживать издание, и оно было бы, по выражению самого историка, «павлин без хвоста»).

«Здесь многие находят, что рано печатать историю ужасов Ивана-царя», — иронически замечает Николай Тургенев.

Царское разрешение почти уничтожило «критику справа» — но все же кое-что доносится.

Член царствующей фамилии (вероятно, будущий Николай I) негодует: «Карамзин помог догадаться русскому народу, что между русскими царями были тираны» (свидетельство декабриста Лорера).

Видные мракобесы Магницкий и Страхов в своем кругу называют Карамзина «якобинцем» — ему не привыкать.

Митрополит Филарет, услышав отрывки из IX тома в заседании Российской Академии, запишет: «Читающий и чтение были привлекательны, но читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила бы свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более покрыла бы тенью, нежели многими мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть положенными на имя русского царя».

Зато каковы голоса *слева*, откуда еще вчера шли эпиграммы насчет «прелести кнута» и рисовали знак ★!

Восторженный *Рылеев* (20 июля 1821 г.): «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! Не знаю, чему больше дивиться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита».

Лорер: «В Петербурге оттого такая пустота, на улицах, что все углублено в царствование Иоанна Грозного».

Кюхельбекер: это «лучшее творение Карамзина».

В 1825—1826-х годах на процессе декабристов революционеры ссылались на Карамзина как на один из источников *вредных мыслей*.

Штейнгель: «Между тем, по ходу просвещения, хотя цензура постепенно делалась строже, но в то же время явился феномен небывалый в России — девятый том „Истории Государства Российского“, смелыми, резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей открыто именовавший тираном, какому подобных мало представляет история».

Михаилу Бестужеву в тюрьму принесли девятый том Истории: «Почему именно 9-й том попал ко мне? Не для того ли, что судьба заранее хотела познакомить меня с тонкими причудами деспотизма и приготовить к тому, что меня ожидало? Хотя мне очень хорошо была известна эпоха зверского царствования Иоанна, но я предался чтению с каким-то лихорадочным чувством любопытства. Было ли это удовольствие — вкушать духовную пищу после томительной голодовки или смутное желание взглянуть поближе в глаза смерти, меня ожидающей, я не знаю... Но я читал... прочитывал — и читал снова каждую страницу».

Много лет спустя знаменитый генерал Ермолов сетовал на «оскорбле-

ние достоинства истории». «Достоинство истории» — вот что уж всегда при Карамзине! Проще говоря, всегда пишет, что думает, а это одно придает рассказу особую мелодию, даже если читатель совсем не согласен с идеей, выводом...

Последние главы девятого тома, вольница Ермака, как бы выходят за пределы жутких казней и опричного мрака: *оставляют надежду*. Ермак почему-то особенно раздражил Карамзина-художника.

21 июня 1820 (Дмитриеву): «Между тем я в Сибири: пишу о *твоем* герое Ермаке. <...> ишу и не нахожу ничего характерного; все бездушно — а выдумывать нельзя».

Благодаря записи Сербиновича, мы знаем, каких характерных, то есть художественно-типических, деталей искал Карамзин в Сибири 1580-х годов: «...интереснейший эпизод нашей истории, с такими картинами, каких еще в ней не бывало. Здесь он [Карамзин] несколько распространился о характере Ермака, о превращении его из разбойника в героя и о тех высоких нравственных условиях и обетах, которыми он обязал своих сподвижников и чрез которые получил столь блестящий успех».

Чувство художественно-историческое Карамзину редко изменяло: его могло (по нашему понятию) далеко *заносить* от настоящего объяснения, но он верно чувствовал, где, в каких сюжетах должны быть важнейшие ответы.

Ермак, завоевание Сибири — события «любопытные, действительно удивительные, если и не чудесные». Вернее, первое звено в цепи чудес, немислимые дебри, невообразимые морозы, расстояния, лишения, опасности... Пушкин скажет 17 лет спустя: «Завоевание Сибири постепенно совершалось. Уже все от Лены до Анадыри реки, впадающие в Ледовитое море, были открыты казаками, и дикие племена, живущие на их берегах или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми сподвижниками Ермака. Выявились смельчаки, сквозь неимоверные препятствия и опасности устремлявшиеся посреди враждебных диких племен, приводили [их] под высокую царскую руку, налагали на их ясак и бесстрашно селились между ними в своих жалких острожках».

Чисто пушкинское столкновение разных понятий — в одной фразе эпитеты «*неимоверный, бесстрашный, жалкий*» — и все о них, казаках, открывателях, землепроходцах.

Тут была тема народа.

Правда, она присутствует в любом томе — от Рюрика до Ивана Грозного. Но там всегда у Карамзина — народ плюс власть; князья, цари, управляющие народом...

Но Ермак — случай особый: российский человек на воле, без царей, воевод, приказных. И горстка казаков, сотни, редко тысячи, вчерашних крестьян, оказывается, несут в себе неслыханный заряд энергии, которая *вдруг* ведет их за тысячи верст и позволяет учетверить размеры русского государства.

Автор «Истории Государства Российского» приглядывается к народу внимательно, художественно. Действительно, «какая сила в нем сокрыта»? Вынесли многовековое иго, поднялись, свергли, побили мощных соседей, распространились на два континента, а через тридцать лет после Ермака, когда страна, казалось, рассыпается, когда царя нет и в Москве неприя-

тель, *вдруг* за Мининым и Пожарским (как во Франции за Орлеанской девой) поднимутся, спасут и — *подчинятся*...

Кажется, все мог великий народ, заряженный особенной исторической энергией: все мог — всех разбить, все освоить и даже самого себя закабалить...

Сегодня можно было бы сравнить его с бурлящим потоком, способным все препятствия размыть, всюду пробиться; однако являются строители канала, плотины — и вся сила воды уж им принадлежит.

Карамзин о том и говорит, декабристы о том и говорят, но «с разными знаками». Для поклонников древних вольностей царская власть (сначала Рюриковичи, потом Романовы) вознеслась народной силою, и за то народ поработился — самодержавием и крепостным правом.

Карамзин же *приветствует* превращение «разбойника в героя» — соединение дикой казацкой вольницы с московской властью и отсюда — удешевление их общих сил.

Пишется о Ермаке, но, по сути дела, и о Разине, Пугачеве...

Крестьянский бунт, восстание против царей — для Карамзина «бесмысленны и беспощадны» (хотя не он эти слова напишет); декабристы тоже не хотят Пугачева, но полагают, что главным виновником новой пугачевщины будет *Аракчеев*.

Зато Карамзин находит плоды своеобразного союза власти с народом в 1812-м...

Тема, важнее всех других, *поставлена*.

Ермак в девятом томе сражается с Кучумом и посылает гонцов к Ивану Грозному.

Карамзинские герои, им описанный *народ*, отправятся вскоре на straniцы пушкинского «Бориса Годунова».

Но до того еще несколько нелегких лет.

ПОСЛЕ ГРОЗНОГО

Три с лишним года тысячи читателей с нетерпением ожидают продолжения — следующих томов. Сетуют на медленность Карамзина: за столько лет ни одной новой книги!

1821—1824-е годы: Шампольон расшифровывает египетские иероглифы и дарит миру целую древнюю цивилизацию; революции в Испании, Португалии, Пьемонте, Неаполе, Греции, Латинской Америке...

«Газеты снова интересны, — кажется, радуется историк. — Как бы хотелось знать, что будет с греками».

«...Венец слетел с головы Фердинанда VII [Испанского], а остался на ней один колпак почти шутовской», — так почти весело писано Александру Тургеневу.

Улыбки, печаль, надежды и в других письмах.

«Поздравляю с новой революцией (португальскою). Скоро ли пройдет эта мода? Или мы пройдем скорее?»

«В Америке рождаются новые государства: Мексика и Перу могут со временем быть великими державами, богатыми и приятнейшими для жизни; но это еще далеко. Между тем видим Испанию в судорогах разрушения. Наше время заставляет более мыслить, нежели веселиться».

Попадают, однако, строки куда более нервные, горячие: «Век конституций напоминает век Тамерланов: везде солдаты в ружье...»

«Между тем шумят о конституциях. Сапожники, портные хотят быть законодателями, особенно в ученой немецкой земле. Покойная французская революция оставила семя, как саранча: из него вылезают гадкие насекомые. Так кажется. — Впрочем, будет, чему быть надобно по закону высшей премудрости».

Эти сапожники, портные — действующие лица будущей «славной» шутки графа Ростопчина: во Франции граф понимает революцию — «сапожники захотели стать князьями»; в России же 14-го декабря не понимает: «князья пожелали стать сапожниками».

Российские князья все крепче и опаснее закладывают мины для будущего взрыва... Почти на глазах Карамзина — Семеновская история 1820 года, «мирный бунт» важнейшего гвардейского полка.

Историк знает, предчувствует 14 декабря — и огорчается: не верит, отрицает для России этот путь.

И не менее, а может быть и более, огорчается действиями другой стороны, формально — *его*, государственной стороны: все то же, о чем он столько раз заговаривал с Александром, — военные поселения, мистика, гонение на просвещение, никаких благих реформ. В одном из писем к Дмитриеву радость: разнесся слух о важных переменах, царь все время работает с Аракчеевым! Однако более ничего не последовало. И у Карамзина меланхолия, которая «питается и печальными слухами о саранче, о непрерывных дождях внутри России, о худой надежде на жатву: ибо я, уже мало занимаясь политикою, все еще принимаю живейшее участие в физическом благосостоянии России». До конца дней, до последнего вздоха — все равно будет верить в просвещение; в то, что «преступления там больше, где больше невежества», в России же «ежегодно в Сибирь отправляют до 6000 человек» (запись Сербиновича).

Отношения с царем, с царицами по-прежнему хорошие. Все хорошо — и все печально... Старшую дочь Софью делают фрейлиной, его самого — действительным статским (генерал Карамзин!). Царь, зная нелюбовь историка к чинам, подчеркнул, что награждает историографа, а не Карамзина. Награжденный благодарил изысканно и ехидно — за признание заслуг историографа и «чин для публики».

Награды, чины, но в то же время над другими, очень близкими, *черные облака*, как некогда, в 1792—1793-м, над тогдашним Карамзиным. В опалу и отставку попадает друг-брат Петр Вяземский; Александра Тургенева, можно сказать, съели темные, клерикальные силы, набравшие голос возле трона. Карамзин горячился, пытался примирить с царем старинного друга, который никогда не был радикалом, заговорщиком и смотрел на вещи сходно с историком. Александр I, кажется, готов был уступить, но сам Тургенев понял, что ему с новым курсом не ужиться. По этому случаю Карамзин жалуется Дмитриеву: «Тургенев спокоен в чувстве своей правоты, а я, любя его как брата родного, люблю искренно и доброго царя, был грустен, и все еще жалею, очень жалею».

Порой нелегко сдержаться, соблюсти дистанцию. Однажды записет о придворных: «Больше лиц, нежели голов; а душ еще менее».

В 1822 году историк смело пишет царю: «Здесь *либералисты*, там

сервилисты. Истина и добро в середине: вот Ваше место, прекрасное, славное!»

И как всегда, внимательно следят за историком-фаворитом многие могучие недоброхоты, крайние мракобесы. Магницкий, Рунич, Фотий только и ждут сигнала, чтобы освистать, выкинуть: «Ты говоришь о нападках Булгарина: это передовое легкое войско, а главное еще готовится к делу, как мне сказывали: Магницкий etc, etc. вступаются будто бы за Иоанна Грозного. И тут ничего не предпринимаю: есть бог и царь!» (Дмитриеву).

Раньше, до 1820 года, историограф много спорил и направо, и налево; никогда не отвечая на печатные атаки, охотно вступал в разговоры. Теперь же все чаще находит и это бесполезным; *удаляется*: «Ось мира будет вертеться и без нас». Он стар для молодых, молод для стариков: о чем говорить? Уже все сказано... Мысль устремляется на десятилетия и века вперед. Предсказания (как и прежде) печальные и оптимистические; друг другу обязательно и прекрасно противоречащие...

«Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание».

«Одно утешает меня — то, что с падением народов не упадет весь род человеческий: одни уступают свое место другим, — и если запустеет Европа, то в середине Африки или в Канаде процветут новые политические общества, процветут науки, искусства и искусства».

«...Мне уже ничего не надобно. Я простился даже и с мечтою быть полезным в государственном смысле; не простился только с историею; вот мое дело, вопреки нашим кастратам и щепетильникам».

То есть ему говорят, намекают, что есть дела поважнее, посовременнее его *Истории*; или, наоборот, стоит ли так писать, например, о злодеяниях Грозного?

Вот мое дело...

Такая позиция обрекала на одиночество. Одиночество обострилось и распадом «Арзамаса»: одни ушли в декабристы, другие в дальние края, третьи в деревню, в частную жизнь. «Мы все как муха на возу, — вздыхает Карамзин, — важничаем и в своей невинности считаем себя виновниками великих происшествий! — Велик тот, кто чувствует свое ничтожество — перед богом!»

Вяземский воскликнет: «Умнейшие из нас, дельнейшие из нас, более или менее, а все вывихнуты: у кого рука, у кого язык, у кого душа, у кого голова в лубках... Арзамас рассеян по лицу земли или, правильнее, по [...] земли».

Наконец, Батюшков (в своей тетради под чудесным заглавием — «Чужое — мое сокровище»): «Карамзин мне говорил однажды: человек... он всех тварей живущее, он все перенести может. Для него нет совершенного лишения, совершенного бедствия: я, по крайней мере, не знаю... *Кроме бесславия*, прибавил он, подумав немного».

Одиночество. И сочувствие немногих избранных:

«Мне кажется, что одному Карамзину дано жить жизнью души, ума и сердца. Мы все поем вполголоса и живем не полною жизнью; оттого и не можем быть вполне довольны собою». Так писал Александр Тургенев Вяземскому.

Вяземский соглашался: «Карамзин... создал себе мир светлый и стройный посреди хаоса тьмы и неустройства».

И Вяземский, и Александр Тургенев не принадлежат к тем соратникам Рыльева, Пестеля, Николая Тургенева, кто *решился*, кто нашел смысл жизни, и поэтому не согласятся, будто один историограф живет светло и стройно.

Но мы уже говорили, что моральную силу, чистоту души Карамзина признавало и большинство критиков.

Само существование такого человека, с такой позицией среди вихрей и столкновений 1820-х годов было уже событием, целым «политическим течением». Он же вослед надолго уезжающему за границу Александру Тургеневу шлет примечательное напутствие: «Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует: все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России, или нет гражданина, нет человека: есть только двуногое животное, с брюхом и с знаком пола, в навозе, хотя и цветами убранным. Так мы с вами давно рассуждали».

Одиночество — и свое дело. Десятый том — время царя Федора Иоанновича, конец XVI столетия. Одиннадцатый том — Борис Годунов, Лжедмитрий. И постоянные попытки сегодняшнего, XIX века вторгнуться в мысли, направить перо историографа.

«Хотелось бы дописать до Романовых: тут конец поэмы — остальное — наследникам. Еще бы два тома, и поклон истории».

3 марта 1821-го — Малиновскому благодарность за присылку из московского архива «двух ящиков» для десятого тома; сообщает, что написал первые «несколько строк».

30 сентября: «Я бреду вперед; описываю теперь убиение Димитрия».

5 декабря — просит приготовить «все о Годунове»: «...хочется отделать его цельно, не отрывком. На сих днях встретилось мне в бумагах 1597 года описание двадцати или тридцати блюд царского стола — находка любопытная!»

1822 год, 27 января: Карамзин просит у Малиновского «дела европейские и азиатские, Польши, Австрии, Англии, Швеции, Италии etc; турецкие, крымские; нагайские, персидские, грузинские, кабардинские etc. Спешу к цели, ибо могу умереть или сделаться неспособен к работе; могут перемениться и обстоятельства».

«Обстоятельства» — это политический курс, царская милость.

Позже историк просит планы зданий, космографию.

31 марта: «...кончил 4 главу 10-го тома и примусь за Годунова, описав судьбу России под скипетром Варяжского дому».

Десятый том окончен; царю, отправляющемуся на Веронский конгресс, историограф вручает тетради «в дорогу».

Том начинался со слов: «Первые дни по смерти тирана (говорит римский историк) бываю счастливейшими для народов: ибо конец страдания есть живейшее из человеческих удовольствий.

Но царствование жестокое часто готовит царствование слабое».

Александр I, вернувшись, делает несколько замечаний, очевидно не настаивая. Карамзин «взялся поправить» в двух только местах. Против фразы «Слабый Федор должен был зависеть от вельмож или монахов»

царь написал: «Последнее не оскорбит ли нашего духовенства?» Карамзин чуть отредактировал, не изменив смысла: «Угадывая, что сей двадцатисемилетний государь, осужденный природою на всегдашнее малолетство духа, будет зависеть от вельмож или монахов, не смели радоваться концу тиранства».

16 июня 1822-го — жалуется Дмитриеву, что трудится над Историей по 5 часов в день «киногда и бесплодно или почти бесплодно».

5 июля — благодарит Малиновского за получение на краткое время ценной *Бееровой летописи*: списывал три дня, «не жалея глаз, ибо письмо не четко, связно, крючкливо».

Десятый том на столе. И вдруг...

7 сентября: «Нынешняя зима, т.е. Сленин и X том Русской Истории могут решить, здесь ли мне умереть или в Москве, или в Арзамасе».

Письмо к Дмитриеву легко разгадываем: если новые тома хорошо пойдут (а издатель Сленин удачно переиздаст их вместе со старыми), тогда будет возможность и дальше в столице оставаться, новые тома писать. Если же — неудача, тогда надо сворачивать столичные роскошества и жить поскромнее, в провинции.

Такого *страха* мы, кажется, у историографа не встречали: прежде опасался, что царь не примет, средств не даст, но в успехе мало сомневался, очень хорошо ощущал читательский интерес.

Теперь же — произошло что-то?

Вспомнив ругательное «кастраты и щепетильники», угадываем мысль стареющего историка: может быть, критика в печати (Каченовский, Лелевель), критика слева (декабристы), критика справа, затаенная, ожидающая приказа свыше (Магницкий и др.) — может быть, все это, с разных совершенно сторон, означает, что необходимость такой истории, такого историка миновала? Может быть, не станут уж так читать, как в 1818—1821-м?

Он знает к тому же, что книги вообще плохо идут: лучше всех расхочется декабристская «Полярная звезда»!

«Могу написать более, но уж не могу написать лучше».

Самого историографа притом не оставляет *бес* современности. Декабрист Николай Тургенев еще 9 сентября 1820 года записал слова Карамзина насчет книги Шатобриана «Герцог Беррийский»: «Такие книги, будучи произведением времени и обстоятельств, показывают и дух времени и существо обстоятельств». Не будем сейчас толковать о книге французского писателя и о том, что в ней увидел русский историк: важнее — что он пишет *о себе*.

Друг Дмитриев написал Воспоминания, и Карамзин их с наслаждением читает, требует еще и еще, но сам даже и не думает о чем-то подобном.

«История...» — это и есть его мемуары. В своих старых веках он, понятно, хорошо видит дух времени и существо сегодняшних обстоятельств.

Но все ему мало, мало... То, что писано в 1811-м («О древней и новой России»), что желалось и не сбылось в 1814-м (История 1812-го, начинающаяся в 1789-м), кажется, и теперь мерещится: ответить на острейшие

вопросы 1820-х годов не только описанием Годунова, Дмитрия, но и книгой о времени отцов, дедов.

Среди напряженнейших работ и забот о XVI—XVII веках Карамзин очень много читает о недавнем XVIII-м. На эту тему больше всего, конечно, в переписке с Дмитриевым: бывший министр и сегодняшний историкограф не боятся писать обо всем, не опасаются, что их, например, сошлут за слишком вольное письмо (как Пушкина в 1824-м из Одессы в Михайловское). К тому же им (да еще и Малиновскому, директору архива) *можно* читать, хранить «запретную литературу» — и два литератора жадно, сладостно обмениваются впечатлениями.

Дмитриеву: «Благодарю тебя за выписку из журналов Храповицкого: я читал ее с живейшим удовольствием. Екатерина знала людей. Ее суждения любопытны и основательны. Недавно читал я письма ее гр. Захару Григорьевичу Чернышеву, и какие!»

«Известна ли вам, — спрашивает Карамзин Малиновского, — биография кн. Дашковой? Я достал экземпляр, но так худо переписанный, что тяжело читать».

Сверхсекретные, хранящиеся под особыми печатями в Государственном архиве Записки Екатерины II... Но некогда Павел I дал их на краткое время почитать близкому другу князю Куракину — тот посадил за дело писарей, и они молниеносно скопировали огромную рукопись. А Тургенев списал у Куракина, Карамзин взял у Тургенева.

Впрочем, даже им, осведомленнейшим людям империи, не удастся дознаться, что, например, версия Брюса об отравлении царевича Алексея позже будет отвергнута; и что не имеет никаких оснований слух (в который поверил Карамзин), будто царевича казнили за «связь с Екатериной I». Зато есть еще повод поспорить о Петре Великом и восклицать (читая «манускрипт, почти никому не известный» испанского посланника герцога де Лириа): «...как любопытно! Вижу перед собою и Долгоруких и Голицыных, и Бирона и Остермана. Недавно читал я также допросы Лестоку и Бирону, жалея, что не буду писать истории сего времени. Прелесть!»

Прелесть — присоединим и мы свой голос, оценивая только что приведенные строки. Карамзин — чувствительный, сентиментальный, очень чуткий к нравственному началу — забывается: наслаждение ученого явно берет верх над ужасом потомка перед допросами, казнями, кошмарами бироновщины; «*прелесть!*» — восклицает Карамзин, воображая, как бы хорошо можно было заполнить двухвековую пропасть между его Историей и его современностью.

«Вообще я так много читал здесь о происшествиях петербургских, что этот город сделался для меня уже историческим: Нева, крепость, дворец напоминают мне столько людей и случаев! Отживая век для настоящего, с каким нежным чувством обращаемся мы к прошедшему».

Осмелимся поправить историка: именно оттого, что не отжил век для настоящего, обращается он к вчерашнему; не жалеет времени и, добившись специального царского разрешения, погружается в дело Волынского («две кипы и сундук. Гнусно и любопытно»); тянет к родному XVIII веку, к пожару Москвы, но где силы взять на все века?

«Осталось бы написать XII том и *сoup d oeil* [взгляд, краткий обзор] до наших времен, для роскоши...» Мечтание это высказано в письме

к А. Ф. Малиновскому. Брату чуть иначе: «Заключу мою Историю обозрением новейшей до самых наших времен».

Вот для чего он читает из XVIII века... Но постоянно сам себя опровергает. Летом 1825-го он, например, объясняет Жуковскому, Вяземскому и Сербиновичу о французской революции (и, понятно, вообще о *новейшей истории*, которая притягивает так, что приходится крепко отталкиваться!): «...писать ее историю еще рано; предмет богатый, но слишком близкий к нашему времени. Современники требуют более подробностей, а история должна быть разборчива».

Нет истории без типических подробностей, но нельзя обнародовать подробности о недавнем: заколдованный круг — как выйти?

Пушкин скажет, что надо вести *Записки*, чтобы на нас могли ссылаться; сам несколько раз будет за них приниматься — плоды четырехлетнего труда сожжет, снова возьмется — и не успеет...

Карамзин отпускает вежливый поклон XIX, XVIII векам и, не прекращая чтения недавних записок, документов, удаляется в 1600-е...

1822, 22 сентября: «...начинаю описывать гонение Романовых, год, разбой, явление самозванца: это ужаснее Батыева нашествия».

28 сентября: «Теперь пишу о гонении Романовых, а самозванец стоит у дверей. Предмет любопытен: лишь бы удалось описать хорошенько».

30 октября: вместо главы из Вальтера Скотта читал императрице Марии об избрании Годунова... «Гатчинское общество не дремало. Хорошо, если бы удалось еще с некоторою живостию дойти до конца, мною предполагаемого, чтобы высокоблагородное потомство, дочитав, могло сказать: „Жаль!“».

Сегодняшний историк, возможно, удивится такому вниманию к форме: «лишь бы описать хорошенько... с некоторою живостию». Сохранившиеся листы черновиков насыщены стилистической правкой. Художественность рассказа для Карамзина-ученого — цель. Форма в определенном смысле — важнее содержания, ибо без нее нет содержания, т. е. былой жизни.

11 декабря: «Теперь пишу о самозванце, стараясь отличить ложь от истины. Я уверен в том, что он был действительно Отрепьев-расстрига. Это не новое, и тем лучше».

1823 год. Новый год историк встречает у Муравьевых: «Съездил, поздравил обеих императриц; до обеда успел еще написать строк десять о Самозванце».

14 января — в торжественном ежегодном заседании Российской Академии Карамзин читает отрывок об убиении царевича Дмитрия и об избрании на царство Бориса Годунова.

«Где был Годунов и что делал? Заключился в монастыре со сестрою, плакал и молился с нею... Сведав о пострижении Ирины, духовенство, чиновники и граждане собрались в Кремле... Все восклицали: „Да здравствует отец наш, Борис Федорович!“ Так совершилось желание властолюбца!.. Но он умел лицемерить: не забывая в радости сердца — и за семь лет пред тем, смело вонзив убийственный нож в гортань св. младенца Дмитрия, чтобы похитить корону, с ужасом оторнул ее, предлагаемую ему торжественно, единодушно, духовенством, синклитом, народом. <...> Но патриарх и бояре еще не теряли надежды. Все благоприятствовало Годунову, ибо все было им устроено. Но сей человеческою

мудростию наделенный правитель достиг престола злодейством... Казнь небесная угрожала царю преступнику и царству несчастному».

Николаю Тургеневу не понравились «эти слезы, эта тоска народа при смерти Федора Ивановича и при просьбах Годунова о принятии престола».

Историк читает, декабрист оспаривает, а *главный истолкователь* еще не знает, не подозревает — «в глуши Молдавии печальной...».

«Пушкин, говоря о Карамзине, рассказал мне однажды: часто находил я его за письменным столом с вытянутым лицом — вот так (при этом слове он вытягивал сам свое лицо). Он отыскивал какое-нибудь выражение для своей мысли...» (запись М. П. Погодина).

Пушкин со многими пытается разделить тоску по Карамзиным; просит Вяземского не забывать прозы — «ты да Карамзин одни владеете ею».

Брату Льву Сергеевичу: «Напишите мне нечто о Карамзине, ой, ых».

Жуковскому: «Введи меня в семейство Карамзиных, скажи им, что я для них тот же. Обними из них кого можно; прочим — всю мою душу».

Последние строки, кажется, спорят с возможным мнением Карамзина, Карамзиной, Карамзиных, будто Пушкин для них «не тот»...

Отголосок старых споров, эпиграмм — Карамзин только лучшему другу Дмитриеву написал (25 сентября 1822 г.) откровенное мнение о «любезном Пушкине»: «Талант действительно прекрасный: жаль, что нет устройства и мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия».

Сам же любезный Пушкин, за тысячи верст, конечно, тонко улавливает отношение одного из самых уважаемых им людей...

Сегодня, когда мы волею или неволею расставляем российских писателей «по рангам», Пушкин, разумеется, *главнее*, и нам, право, неловко за карамзинское мнение, будто у Пушкина «в голове ни малейшего благоразумия». Но что же делать! Карамзин в ту пору был читателям не менее важен, чем Пушкин; Карамзин *так* думал; Карамзин Пушкина несколько лет не видел — и судил по старинке; Пушкину карамзинский упрек, самый несправедливый, был все равно полезнее пошлой хвалы. И наконец, самое главное: Пушкин *делом* опроверг историографический вздох о себе.

Смерть Федора, избрание Бориса — здесь он, Пушкин, вскоре произнесет главные слова!

Тема Бориса, самозванцев была, как видно, созвучна напряженному нестройству, ожиданию 1820-х годов — и малейшие сведения о карамзинском замысле будоражили молодых.

29 августа 1823 года дерптский студент и славный поэт Николай Языков пишет, что с нетерпением ждет карамзинских страниц о самозванце — ибо та эпоха «может дать хорошие матерьялы для романиста исторического». Пушкин же умом, душою, сомнениями, поэтическим опытом приближается к истории — и будто только ждет десятого и одиннадцатого томов, чтобы приняться за «Комедию о настоящей беде Московскому государству...».

Как все просто выглядит сейчас, когда мы знаем то, что сбылось. И как все было зыбко летом 1823-го!

12 апреля Карамзин еще уверял брата, что работает усердно: кончил

Федора Борисовича, начинает Лжедмитрия, осенью надеется начать Шуйского.

А затем так навалилась лихорадка, так худо было, что разнеслись слухи о смерти — все лето приходил в себя и 6 августа открылся брату: «Я был действительно при дверях гроба... Умер бы легко, не чувствую смерти».

Умри Карамзин (не дай бог — хочется вдруг сказать) — умри летом 1823-го — и выход одиннадцатого тома (да, наверное, и десятого, с ним связанного) задержался бы, конечно, на несколько лет. И не написал бы Пушкин своего «Бориса» в 1825-м, а после 14 декабря совсем иная обстановка и, вероятно, не написал бы совсем.

Страшно даже о таком подумать; но — обошлось...

ДЕСЯТЫЙ И ОДИННАДЦАТЫЙ

1823 год. 18 октября: «Дописываю теперь самозванца. После болезни имею к себе менее доверенности: не ослабела ли голова с памятью и воображением?»

Конец ноября — начало декабря: рукописи десятого и одиннадцатого томов уходят в типографию. «Хуже всего то, что на меня часто находит грусть неизъяснимая, без всякой причины, и нервы мои раздражены до крайности».

1 декабря: «Хорошо, если они [X и XI тома] так же разойдутся, как 9-й том. Кроме авторского честолюбия, это могло бы поправить и наши экономические обстоятельства».

1824 год. 1 января: «Занимаюсь печатанием, не жалею денег, а идет плохо».

21 января. Десятый том отпечатан.

С 4 марта десятый и одиннадцатый тома рассылаются подписчикам.

14 марта (А. Тургенев — Вяземскому): «На Семеновском мосту только и встречаешь, что навьюченных томами Карамзина „Истории“». Уж 900 экземпляров в три дни продано».

В столице, как бывало и прежде, книжки прямо на квартире Карамзина продает Афанасий Иванович — «грамотный рядовой из сторожей департамента духовных дел».

Тома разошлись, но все же не так стремительно, сенсационно, как в 1818-м. Карамзин был прав — что-то переменялось в воздухе; одни устали, другие далеко ушли.

Александр Тургенев, поначалу радовавшийся, тоже нервничает: «Мало берут — по 4, по 5 экземпляров в день разбирают. Вчера взяли семь на простой бумаге. [Карамзин] принужден уступить на срок книгопродавцам. Ожидаю большего рвения и патриотизма от русской России: Чухонская равнодушна к славе отечества... Да возрадуются клеветы Каченовского!»

«История моя худо продается; говорят, что все худо продается», — жалуется Карамзин Дмитриеву 13 июня 1824 года; опять приходят мысли, что все это — не нужно: мысли об отречении. Как раз в это время ведь и царь «распорядился наследством»; говорит о своем давнем желании отречься, жить частной жизнью.

Царь отречется, историку отречься?

Всего продано 2000 экземпляров — втрое меньше, чем в 1818-м, но отказываться от Истории рано, и Карамзин, кажется, это вскоре почувствует.

Восемь томов в 1818-м году, как и девятый том в 1821-м, как и десятый, одиннадцатый в 1824-м — каждый раз становились значительным культурным, общественно-политическим событием, вызывали волну откликов, споров, ответов, подражаний, новых замыслов...

В напряженной усталой атмосфере 1824-го, когда миновали надежды на реформы, когда окончились европейские революции, когда «либерал Пушкин» оставляет в черновике:

От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От саркосельских лип до башен Гибралтара:
Все молча ждет удара,
Все пало — под ярем склонились все главы...

В этом-то «остановившемся времени» бурные, живые страницы родной истории были свежим воздухом, признаком настоящей жизни.

Языков в Дерпте жадно читает десятый и одиннадцатый тома: «эти любопытства полные доказательства великого таланта нашего Ливия. Дай бог, чтоб он сколько можно продолжал писать Русскую Историю, хотя бы до смерти Петра».

Грибоедов летом 1824-го находит, что «стыдно было бы уехать из России, не выдавши человека, который ей наиболее чести приносит своими трудами».

Александр Бестужев, обдумывая разные способы исторического описания русской жизни, вздыхает: «Но что скажешь после Карамзина?»

Наконец, *Пушкин*: «Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! Какая жизнь! Это злободневно, как свежая газета».

Карамзин, кстати, хорошо знает от *Вяземского*, что Пушкин пишет «Бориса», просит рукопись, но не успевает прочесть... Слишком мало времени, слишком много событий...

«Мы не рады тому, что бог не дал нам видеть этого общего бедствия».

Карамзин, всегда стремящийся в «минуты роковые» сам быть историческим свидетелем, жалеет, что не видел великого петербургского наводнения 7 ноября 1824 года. В Царском Селе та буря, что гнала обратно Неву, «ломала и рвала с корнем давнoletние деревья».

Царь скажет Карамзину слова, которые позже попадут в пушкинский «Медный Всадник»: «Мой долг быть на месте... Воля божия, нам остается преклонить главу пред нею».

Наводнение это немалому числу мыслящих людей показалось близким предвестником других роковых минут и роковых лет.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ

Карамзин — Дмитриеву. 22 октября 1825 года: «...я точно наслаждаюсь здешнею тихою, уединенною жизнью, когда здоров и не имею сердечной тревоги. Все часы дня заняты приятным образом: в девять утра гуляю

по сухим и в ненастье дорогам, вокруг прекрасного, не туманного озера... В 11-м завтракаю с семейством и работаю с удовольствием до двух, еще находя в себе и душу и воображение; в два часа на коне, несмотря ни на дождь, ни на снег. Трясусь, качаюсь — и весел...

В темноте вечерней еще хожу час по саду, смотря в дали на огни домов, слушаю колокольчик скачущих по большой дороге и нередко — крик совы. С 10 до половины 12 читаем с женою и двумя девицами Вальтера Скотта романы, но с невинною пищею для воображения и сердца, всегда жалея, что вечера коротки. Не знаю скуки с зевотою и благодарю бога. Рад жить так до конца жизни. Что мне город?.. Знаешь ли, что я с слезами чувствую признательность к Небу за свое историческое дело? Знаю, что и как пишу: в своем тихом восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве; я независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовью к отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать моей Истории: она есть, и довольно для меня. Одним словом, я совершенный граф Хвостов по жару к музам или музе! За неимением читателей могу читать себя и бормотать сердцу, где и что хорошо. Мне остается просить бога единственно о здоровье милых и насущном хлебе до той минуты,

Как лебедь на водах Меандра,
Пропев, умолкнет навсегда».

Прекрасная проза, исповедь. Через год без малого после наводнения, за два месяца без малого до восстания. Ровно за 7 месяцев до смерти...

О смерти заговаривает все чаще; брату признается, что смотрит на здешний свет «как на гостиницу». «Чтобы чувствовать всю сладость жизни, надобно любить и смерть, как сладкое успокоение в объятиях отца. В мои веселые, светлые часы я всегда бываю ласков к мысли о смерти, мало заботясь о бессмертии и авторском».

Меж тем работа «опять сладка», перед прощанием.

Жуковский и Александр Тургенев рассказывают, а Сербинович записывает о недавно обнаруженном 200-летнем старце: появился на свет около 1620 года — в то самое время, куда вплотную подошли тома «Истории Государства Российского».

Старец прожил «недостающую часть»...

Жена умоляет лечиться — поехать за границу, снова увидеть мир «русского путешественника». Николай Михайлович, однако, никак не желает «трястись в карете или шататься на корабле».

Путешествие, да! — но все по времени, в XVII век, к Шуйскому, Тушинскому вору, Семибоярщине, Минину и Пожарскому.

ПОСЛЕДНИЙ ТОМ

«Пишу мало, однако ж пишу, во всяком случае последний XII-й том: им заведуясь для двух тысяч современников (NB по числу купленных экземпляров) и для потомства, о котором мечтают орлы и лягушки авторства с равным жаром». (Дмитриеву).

Брату сообщает, что торопится дописать «прежде охлаждения душевного».

Посланы в Москву подробные вопросы и получены обширные ответы — о Шуйском. Калайдовича просят побывать в Тушине и описать мес-

то, где стоял Лжедмитрий II; корреспондент присылает историографу подробный план.

3 сентября 1825-го Карамзин жалуется, что «история не двигалась вперед: в 3¹/₂ месяца едва ли написал 30 страниц». Как и прежде, нужны помощники, наследники. Малиновский, Румянцев, Калайдович, Строев, Оленин, Александр Тургенев... Теперь много помогает Сербинович, все сильное участие молодых — Погодина, Сухорукова, Хомякова.

Уже говорили, но повторим, что видим здесь не умаление, а, наоборот, величие историка: он объединил в своем труде всю науку своей страны и своего времени, его книги были общим делом — и в то же время «подвигом честного человека», Николая Карамзина.

Повторим также, что и знаменитый мастер не волен знать главных своих наследников. Ведь одиннадцатый том и споры насчет Бориса как будто менее всего обращены к тому михайловскому ссыльному, который, перечитав им написанное, воскликнет: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!», а после напишет на титульном листе — «Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин».

И разве не к тому же молодому человеку «без устройства и мира в душе» — вздох Карамзина о финале Истории: «Дай мне бог дойти до Романовых; а о Петре Великом и не думаю: для описания одного устройства его, в небольшом размере, понадобилось бы, по крайней мере, пять лет».

7 октября в Михайловском окончен пушкинский «Борис».

Карамзин в тот день дописывает пятую главу двенадцатого тома: 1611 год, славная оборона Троице-Сергиевского монастыря; еще немного — «и поклон всему миру, не холодный, с движением руки навстречу потомству, ласковому или спесивому, как ему угодно... Близко, близко, но еще можно не доплыть до берега» (Дмитриеву).

15 ноября 1825-го семья Карамзиных переезжает из Царского Села в город.

26 ноября из Таганрога прибывает курьер с сообщением о тяжелой болезни царя.

«Я, МИРНЫЙ. ИСТОРИОГРАФ...»

Еще летом 1825-го Карамзин по просьбе молодой императрицы подобрал исторические справки о Таганроге — южном городе, куда собиралась царская фамилия. 1 сентября 1825-го историограф простился с Александром I; через день — с царицей. Много лет спустя вышла из архивных тайников запись Карамзина об одной из последних бесед с императором, 28 августа с восьми до половины двенадцатого...

«В последней моей беседе с ним 28 августа... я сказал ему как пророк: Sire, Vos années sont comptées; Vous n'avez plus rien à remettre, et Vous avez encore tant de choses à faire pour que la fin de Votre règne soit digne de son beau commencement (Государь, Ваши дни сочтены, Вы не можете более ничего откладывать и должны еще столько сделать, чтобы конец Вашего царствования был достоин его прекрасного начала)..»

Царь обещает...

Запись, поражающая и смыслом и краткостью.

Царю, как видим, делается прямое, недвусмысленное *предсказание* (впрочем, возможно, в ответ на его собственные предчувствия): историк знает, что вот-вот нечто вспыхнет, а у царя уже доносы Шервуда и Бошняка о планах скорого восстания и царевубийства.

Александр *обещает* — но отчего же на другой день после его отъезда Карамзину «грустно, мрачно, холодно в сердце и не хочется взять пера»? (Дмитриеву).

Больше с этим царем не виделся. 27 ноября 1825 года, в разгар молебствия *во здравие*, во дворец примчался траурный гонец из Таганрога.

Открыли завещание Николаю — присягнули Константину — получили отказ Константина — готовятся присягать Николаю... Междуцарствие, какого не бывало со времен карамзинского двенадцатого тома.

Минуты роковые...

Историк присматривается к странному, притихшему Петербургу без императора. «Вот уже целый месяц, как мы существуем без государя, а однако все идет так же хорошо, или, по крайней мере, так же плохо, как раньше». Эти слова одного из «арзамасцев», сказанные при Карамзине, запомнил декабрист Александр Муравьев, брат Никиты: для заговорщиков это — еще один довод, что самбдержцы вообще не нужны. Карамзин иначе думает, но притом, разумеется, не скрывает своих опасений насчет *ожесточенной России*. В разговорах с императрицей-матерью и завтрашним царем Николаем приводит такие страшные подробности (и, надо думать, исторические параллели с Годуновым, Лжедмитрием, Шуйским), так «увлекся отрицанием», критикой правления Александра, что (согласно М. П. Погодину) Мария Федоровна просит историографа: «Пощади сердце матери!»

«Ваше Величество, — отвечает Карамзин, — я говорю не только матери государя, который скончался, но и матери государя, который готовится царствовать».

Вот таким был этот монархист, который не умел, не мог лгать во спасение и говорил любимым монархам страшные вещи, да еще так писал про их предшественников, что будущий декабрист-смертник восклицал: «Ну, Грозный! Ну, Карамзин!»

14 декабря 1825 года с утра — явился во дворец с дочерьми-фрейлинами: день присяги Николаю. Снаружи вдруг стрельба, крики, восстание! Историк видит оцепеневшего от страха Аракчеева и еще нескольких *виновников* — ему нечего им сказать. Александра Федоровна, жена Николая, молится; Мария Федоровна повторяет: «Что скажет Европа!» — «Я случился подле них: чувствовал живо, сильно, но сам дивился спокойствию моей души странной; опасность под носом уже для меня не опасность, а рок — и не смущает сердца».

Он должен все видеть сам — как в Париже 1790-го, в Москве 1812-го. Идет на улицу, к Сенатской — люди запомнили человека в парадном придворном мундире, без шляпы «с его статным ростом, тонкими благородными чертами, плавною спокойною походкою и развевающимися на ходу жидкими седыми волосами».

«— Видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней 5—6 упало к ногам».

Он ненавидит мятеж, но все же, явно удивляясь самому себе, признает-

ся (все в том же длинном письме-отчете Дмитриеву, который мы только что цитировали): «Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж».

Из других писем и разговоров тех дней мы восстанавливаем горькие, противоречивые чувства, одолевавшие Карамзина. Он, оказывается, уговаривал каких-то солдат или обывателей — не бунтовать, разойтись. Другим бы это не сошло — одному из таких агитаторов чуть череп не проломили прикладом...

Историограф алкал, «ждал» пушечных выстрелов, негодовал: «Каковы преобразователи России: Рылеев, Корнилович...»

Однако замешано, арестовано и множество *своих!* Прежде всего близкие из близких — Никита и Александр Муравьевы, Николай Тургенев (он, правда, в Англии, но объявлен вне закона), Николай Бестужев, который «один мог бы продолжать Письма русского путешественника». Подписаны приказы об аресте Михаила Орлова, Кюхельбекера (переводившего Историю на немецкий), в тюрьме и множество других старинных знакомых, читателей, почитателей — тех молодых людей, которые так жадно ожидали его Историю и которые там вычитали свое. В письме к неизменному Дмитриеву Карамзин надеется: «Дай бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ими не так много»; с первых же дней обеспокоен, что теперь раздолье будет для Аракчеевых, Магницких, которые станут восклицать: «Мы же говорили!»

Декабризма Карамзин решительно не принимает, но он историк: трудно не заметить широких причин, глубоких основ.

Карамзин: «Каждый бунтовщик готовит себе эшафот». «Что ничего не доказывает», — отвечал *Никита Муравьев*.

Пришло время эшафота.

Карамзин: «Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидению. Оно, конечно, имеет свой план...»

Муравьев: «Революция была, без сомнения, в его плане».

Нечестному легко помнить одно, забыв, желая забыть другое. Честному человеку — невозможно. «Я только зритель, но устал душою, — жалуется Карамзин. — <...> Авьось скоро возвращусь к своей музе-старухе».

Но в Историю, в XVII век, теперь не скрыться: к тому же в течение 23 лет работы над Историей древность и современность в каждом томе привыкли к «смешению».

Главные свои слова о 14 декабря и декабристах Карамзин произнесет очень скоро: «Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века».

И если так, значит, прав был Никита Муравьев: революция в *плане провидения*; ведь заблуждения века не могут быть случайностью, простым «злым умыслом» одного, десятерых? Они в природе вещей...

И если так, надо на всю русскую историю, давнюю и недавнюю, взглянуть по-иному, заметить то, что высветилось в минувших веках от вспышки 14 декабря.

Опять что-то не сходится в ответе. Как и должно быть.

Честному человеку менять свои убеждения — значит менять жизнь. Если же сил не хватает — умереть.

ДЕКАБРЬ — МАЙ

Карамзин заболевает — простудился на улицах и площадях 14 декабря. В представлениях современников и ближайших потомков историограф стал еще одной, пусть невольной жертвой рокового дня.

Если не *спрyamлять* события, не романтизировать, то можно бы, казалось, возразить: историк и прежде серьезно хворал; теперь же болезнь то наступает, то отступает, и в хорошие дни Карамзин еще пишет, пытается выходить...

И все же, действительно, — с 14 декабря Карамзин умирает. Подорвано не только здоровье, но и некая оптимистическая струна, на которой все держалось. Это подтверждают и его попытки выйти из кризиса, ожить.

«Не боюсь встретиться с Александром I на том свете, о котором мы так часто говорили, оба не ужасаясь смерти, оба веря богу и добродетели».

Еще накануне восстания новый царь Николай просит Карамзина написать манифест о вступлении его на престол.

Историк пишет, причем дважды обращается к «тени Александра I»: во-первых, упомянув «дела беспримерной славы для отечества», случившиеся в прошлом царствовании; во-вторых, предложив Николаю I формулы «Да будет наше царствование только продолжением Александра!.. Да исполнится все, чего желал, но еще не успел совершить для отечества Александр!..»

Новому императору это не пришлось по душе. Он крепко недолюбливал старшего брата (а после восстания вообще едва сдерживался, сетовал, что Александр «распустил» народ); карамзинский намек на ожидавшиеся, но не сбывшиеся общественные реформы тоже раздражает Николая. Историографу было сказано, что царю «неприлично хвалить брата в манифесте» и что решительно не нужно «излишних обязательств».

Тут настал час Сперанского. Автор старых проектов государственного преобразования России теперь приглашен для составления документа, где о преобразованиях ни слова! Консерватор Карамзин отвергнут как либерал; *левый* Сперанский берет консервативный реванш. Карамзин, сделав «секретную запись» обо всех этих делах, прибавляет: «Один бог знает, каково будет наступившее царствование. Желаю, чтобы это сообщение было любопытно для потомства: разумею, в хорошем смысле». Историк опасается (и справедливо), что в истории с манифестом есть и *дурной смысл*...

С этим царем диалогу не бывать: «Новый государь России не может знать и ценить моих чувств, как знал и ценил их Александр».

Врачи объясняют Екатерине Андреевне, что легкие очень плохи, что грозит хроническое воспаление и отек (пенициллина еще не изобрели, спасение маловероятно). Больного не беспокоят, но в дни ухудшения он трезубет друзей и новостей. Иногда принимает в саду: «...люблю солнце и греюсь; да оно меня что-то не очень жалует».

Последние беседы записывает Сербинович, который теперь только по воскресеньям может забежать к Карамзиным: его взяли на службу в Следственную комиссию по делу декабристов, где он разбирает и слышит сотни бумаг, переводит с польского и т. п.

Постоянно приходят Жуковский, Александр Тургенев, Блудов, Дашков — *арзамасы*.

Месяц за месяцем идет секретный процесс над сотнями «государственных преступников» — за себя историк, разумеется, совсем не боится, не то, что за других...

Племянник Карамзина Философов нашалил с друзьями, их разжаловали в солдаты.

Получив только что, «во время чумы», вышедший сборник стихотворений Пушкина, Карамзин напуган латинским эпитафием («Первая молодость воспевает любовь, более поздняя — смятение»), пеняет издателю Плетневу: «Что это Вы сделали? Зачем губит себя молодой человек?» Плетнев вынужден объяснить, что Пушкин придумал эпитафию еще до восстания и разумел смятение душевное...

Еще раз вспомним, приведем в контексте примечательные воспоминания об историографе декабриста Розена: «...журналы и газеты русские твердили о бесчеловечных умыслах, о безнравственной цели тайных обществ, о жестокосердичии членов этих обществ, о зверской их наружности. Но тогда журналы и газеты выражали только мнение и волю правительства; издатели не смели иметь своего мнения, а мнения общественно не было никакого. Из русских один только Н. М. Карамзин, имевший доступ к государю, дерзнул замолвить слово, сказав: „Ваше величество! заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!“»

Один Карамзин... Мы знаем, что не он один просил, но репутация у него такая; и ведь нет сомнения, что при редких, последних встречах с Николаем он говорил нечто подобное; и не только для облегчения участи отдельных декабристов, сколько для вразумления царя на реформы.

Боязнь *Аракчеева* не оставляет Карамзина — и то, что сам граф Алексей Андреевич теряет фавор у нового царя, ничего не меняет. Он предчувствует (и ведь верно предчувствует!), что, взойдя на трон через подавление, трупы, аресты. Николай I выберет другую формулу правления, нежели его старший брат. Выходило, что брат не досмотрел, распустил, что просвещение *не оправдалось*, что необходим новый курс.

Но притом Николай многого боится — и революции, и народа, и дворянства: ведь столько видных семейств задето, арестованы родственники.

Поэтому курс на подавление сочетается с объявлениями и действиями «умиротворяющими». Да и в будущем, даже в самые жесткие годы николаевского правления, были министры, генералы для *основного курса* и несколько сановников (Киселев, Перовский и др.) для смягчения, уравновешивания. Понятно, в первые месяцы неустойчивого правления подобное «раздвоение» было куда более сильным.

Тут-то и нужен был Карамзин.

Авторитетная фигура, уважаемая на разных общественных полюсах, — символ просвещенного курса, человек, немислимый среди казней, крови, каторги. Привлечение Карамзина без сомнения повышало авторитет нового царствования; поэтому «неудача» с манифестом не уничтожила большого интереса Николая I к его автору. Важную роль тут играла, конечно, Мария Федоровна, весьма привязанная к Карамзину и посещавшая его во время болезни.

Еще в декабре 1825-го царь послал историографа новое предложение — участвовать в составлении «бумаг государственных». Речь шла (как и в 1811—1812 г.) либо о должности статс-секретаря, либо о каком-нибудь министерском poste.

Карамзин решительно отказался, сославшись на здоровье и двенадцатый том, но уверенно предложил замену: два важнейших министерских места, внутренних дел и юстиции, были к этому времени заняты людьми большими, престарелыми и явно требовали укрепления. Карамзин рекомендует двух старинных друзей, помощников, арзамасцев — Блудова и Дашкова: просвещенные люди, способные политически уравновесить *аракчеевскую угрозу*. Царь согласился, Блудов и Дашков тоже; их повысили, и вскоре они станут николаевскими министрами.

Не в нашей книге разбирать этот эпизод. Заметим только, что арзамасцев взяли наверх после страшного экзамена. Блудову было велено составить «Донесение Следственной комиссии», правительственную версию декабристского дела. И он написал — как велели; скрыл «дум» высокое стремление» многих своих старинных приятелей и собеседников (между прочим, арзамасцев Николая Тургенева, Никиты Муравьева, Михаила Орлова); скрыл, что они желали отмены крепостного права, военных поселений, рекрутчины, введения конституции, реформы судов; скрыл — и представил их только как рвущихся к власти царевичей.

Нам интересно знать, что сказал бы об этом Карамзин? Он не дождался — но сам бы так не стал писать о «заблуждениях века». Умеренный же, по-карамзински думавший Александр Тургенев навсегда прервет отношения со старинным другом Блудовым. За брата Николая Тургенева...

Однако история есть история. Блудов и Дашков, далеко уйдя от *арзамасских принципов*, все же в николаевском кабинете будут весьма либеральными, «левыми» (рядом с Чернышевым, Бенкендорфом, Клейнмихелем); все же способствуют тому, чтобы *еще хуже не стало*...

И всегда, при каждом случае, они повторяют, что их Карамзин рекомендовал. Это явно поощрялось самим монархом, ибо историограф, таким образом, как бы вводился в правительственный круг Николая I.

Другое же ходатайство Карамзина, одно из последних, наоборот, покрыто такой тайной, что и полтора века спустя мы представляем подробности довольно смутно.

Дело в том, что, по всей видимости, Николай Михайлович вместе с Жуковским убедил царя вернуть Пушкина.

Согласно данным западных дипломатов, «по настоятельным просьбам историографа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, взойдя на трон, призвал поэта».

Карамзин объяснил царю всю выгоду, которую *первый дворянин* может получить вследствие амнистии первого поэта. Так или иначе — лучшей официальной версией сочтена была личная царская инициатива: иначе от упоминания карамзинско-жуковской подсказки роль Николая I снижается; возникают подозрения, что он не знал или почти не слышал о национальном гении.

Так Карамзин в последний раз помогает, пытается помочь...
Оставалось еще расчитаться с самим собою.

Двенадцатый том замер в междуцарствии 1612—1613 годов и после междуцарствия 1825-го.

11 января 1826 года: «Начинаю снова заниматься своим делом, т. е. Историею».

Март — много читает по XVII веку: «...имею часто сладкие минуты в душе: в ней бывает какая-то тишина неизъяснимая и несказанно приятная».

«Смерть медлит» — это последние слова в последнем историческом сочинении Тацита.

Однажды Карамзин признается, что «привык думать с пером в руке», но нет сил, а диктовать отказывается. Тем не менее письма приходится поручать дочерям. На всякий случай оставляет Блудову и Сербиновичу подробные инструкции — об окончании двенадцатого тома, о примечаниях, архивных бумагах... А тут — кашель с кровью, воспаление легких; «похудел так, что не узнать». Врачи не надеются; единственный зыбкий шанс — Италия.

Денег нет, даже долги. Никогда не просил за себя и прежнего царя, тем более — этого. И все же приходится: как видно, настояли домашние — заодно с Жуковским, Александром Тургеневым, Блудовым, Дашковым. Заходит и старинный противник Сперанский, говорит, что «вся Россия принимает участие в болезни Карамзина». Царь меж тем сам справился о здоровье, спросил о нуждах.

22 марта 1826 года: «Имея понятие о политических отношениях России к державам Европейским», Карамзин просит должности русского резидента во Флоренции: Италия нужна для здоровья, должность — для обеспечения заграничного житья.

Царь Карамзину 6 апреля 1826 года: «Место во Флоренции еще не вакантно, но российскому историографу не нужно подобного предлога, дабы иметь способ там жить свободно и занимаясь своим делом, которое, без лести, кажется стоит дипломатической корреспонденции, особливо флорентийской».

7 апреля Карамзин благодарит царя. Надеется «в чужой земле беспрестанно заниматься Россией».

У русского путешественника и план поездки уже готов; в июне на корабле от Кронштадта до Бордо — на это уйдет около трех недель. Затем каретой до Марсея, и снова на корабле в Ливорно. В Царское Село этой весною уж не поедет и просит, если возможно, в зданиях, принадлежащих Таврическому дворцу, «уголок скромный, сухой и теплый, чтоб еще недели 3 подышать там лучшим городским воздухом».

Царь обещает дать специальный фрегат для историографа...

В этот же день Александр Тургенев пишет за границу своему брату, государственному преступнику Николаю Тургеневу: «Семейство [Карамзина] не знает всей опасности. <...> Он исчезает для здешнего мира, но еще думает кончить в чужих краях 12-й том».

В этот же день в Петропавловской крепости происходит 101-е заседание Следственной комиссии: допросы Сергея Муравьева-Апостола, Бярятинского, Бестужева-Рюмина.

В этот день в Варшаве арестован Лунин.

Рылеев просит жену передать ему в камеру 11 томов Карамзина —

последнее чтение... Михаил Бестужев, тоже деливший заключение с «Историей Государства Российского», на одной из страниц девятого тома набрасывает схему тюремной азбуки — той системы перестукивания, которой воспользуется несколько революционных поколений.

В эти дни Жуковский собирается за границу — нет сил для Петербурга накануне приговора, казней. Почти каждый день он заходит к Карамзину, а уезжает, не простившись: не хватило духа, знал — что больше не свидится.

Меж тем складываются чемоданы для Италии, и Катерина Андреевна, зная, что вряд ли поедут, непроницаемо-сдержанна в своем горе.

13 мая. Рескрипт Николая I. Сохранились черновики, написанные Жуковским. После торжественных слов («Русский народ достоин знать свою историю... История, Вами написанная, достойна русского народа!») прилагался указ царя министру финансов, и его тоже набросал Жуковский. Указ об особой пенсии, которая будет выплачиваться самому историографу, жене и детям — причем сумма не зависит от того, сколько Карамзинных останется на свете: до выхода всех дочерей замуж, до получения всеми сыновьями офицерского чина...

Жуковский оставил место для годовой суммы — и царь вписал огромное число — 50 000 рублей.

Одиннадцать лет спустя, в дни пушкинских похорон, Жуковский напоминает Николаю I: «„Так как Ваше Величество для написания указа о Карамзине избрали тогда меня орудием, то позвольте мне и теперь того же надеяться“. — Царь отвечал: „Я во всем с тобою согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина я все готов сделать, но я не могу сравнить его в уважении с Карамзиным, тот умирал как ангел“. Он дал почувствовать <...> что и смерть и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для нее Карамзин» (А. Тургенев).

Карамзин, получив неслыханную милость, вежливо благодарит за «благоденствия сверх меры», но посетивший историка в тот день Александр Тургенев несколько раз вспоминал о поразившем его редкостном явлении. Карамзин был разгневан, по-видимому, очень разгневан, он «рассердился за пенсию», «принял с негодованием...». Негодовал, потому что слишком много, подозрительно много!

Прежний царь, с которым были близкие отношения, не осмеливался платить больше 2000 в год (одоходах за Историю речь не идет — это зависело от самого историографа.) 2000 было маловато, но не сковывало, не обязывало. Пятьдесят тысяч — это явно не столько для Карамзина, сколько для молвы!

Однажды у Греча обедают литераторы Крылов, Булгарин, Лобанов, Измайлов, Сомов, французский публицист Ансло: провозглашен и очень радостно встречен тост за царя, «который только что почтил литературу в лице г. Карамзина».

Дело понятное: литература очень напугана арестами, следствием над Рылеевым, Бестужевым, Кюхельбекером, Грибоедовым, Корниловичем, Одоевским и другими писателями, журналистами; словесность вообще на подозрении и ждет худшего, а царский подарок Карамзину успокаивает лояльных и привлекает колеблющихся...

Впрочем, двусмысленность огромного пожалования, политический

расчет среди весенних ужасов 1826 года (и ожидаемых летних казней) — все это было замечено не одним Карамзиным. Осведомленный и вполне благонамеренный свидетель А. Я. Булгаков пишет насчет «пенсии»: «Вы превозносите душу императора, а есть, конечно, завистники, коим это не нравится».

Карамзин разгневался — в последний раз в жизни, но сильно. Всегда чувствовал фальшь, лживый тон — и точно так же, как некогда воспротивился лестному желанию царской сестры быть заочной крестной матерью его ребенка («это для людей»), точно так же недоволен документом, несомненно гарантирующим будущее его семьи, но — недаром, недаром...

13 мая — последний гнев Карамзина.

22 мая 1826 года Карамзина не стало.

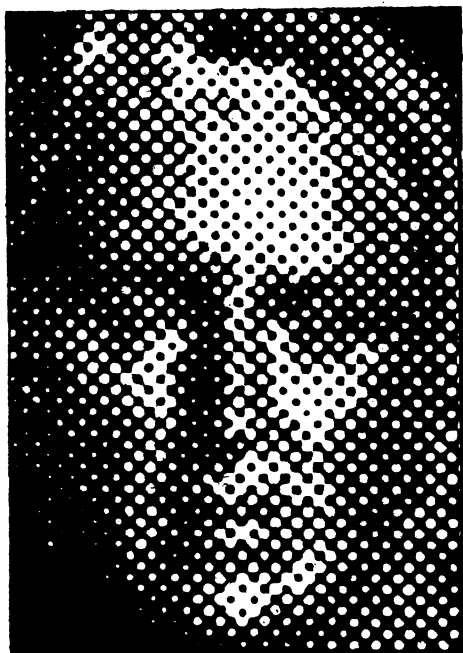
Жуковский — Катерине Андреевне из Дрездена; 28/16 сентября 1826 года: «Тот, кто был на свете Карамзиным, о том воспоминание не может иметь ничего обыкновенного. Все уроки земной мудрости, все, что на земле есть прекрасного, соединяется в горестно-возвышенном чувстве: *он был!* Видишь пред собою прекрасную чистую жизнь и утешаясь, возвышаешь себя мыслию, что такая жизнь *на земле возможна*. Вспомнить об ней — значит поверить сердцем всему тому, что так слабо берегает в будущем рассудок. Дружба к нему (не *с ним*, ибо мы не могли быть товарищами), но способность понимать его и любить — была моим главным моральным достоинством. Не иметь его свидетелем жизни своей, одобрителем своих дел есть великая потеря; но тем дороже должно быть воспоминание об нем; с этим воспоминанием не уснет в душе ничто его достойное. Глаза не видят, а сердце помнит. Моя истинно деятельная жизнь, можно сказать, теперь только начинается; тут-то и нужен бы был такой Судья, которого присутствие давало бы силу одобрения, награду. <...> Теперь помнить его есть то же, что было прежде любить: действие должно быть одно и то же. Напишите, прошу Вас, сделан ли надгробный памятник; если нет, я постарался бы здесь приготовить рисунок. Надобно, чтоб был самый простой и величественный. Надобно бы посадить кругом деревьев...»

Памятник стоит сегодня в Александро-Невской лавре. На плите два имени: Николай Михайлович, Екатерина Андреевна Карамзины.

Была молва, искренняя и наивная, (записанная много лет спустя): «Никто не верил тогда, что смертная казнь будет приведена в исполнение, и будь жив Карамзин, ее бы и не было, — в этом убеждены были все...»

III

...Этот
академик
посмотрел
ко мне
в душу:



я услышал
какой-то
глухой
ГОЛОС
ПОТОМСТВА

Н. М. Карамзин

ПОСЛЕ

Карамзин прожил две жизни и еще одну — *после*.

Блудов, Сербинович разобрали почти готовую рукопись двенадцатого тома, на это ушло больше двух лет, душеприказчики, впрочем, были очень заняты в ту пору по секретным декабристским и иным делам...

Последний том вышел в начале 1829 года. Он оканчивался словами о 1611-м: «И что была тогда Россия? ...Шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присвоили себе наши северо-западные владения, где господствовало безначалие, — где явился еще новый, третий или четвер-

тый Лжедмитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду россиян современных и новыми гнусностями обременить Историю, — и где еще держался Лисовский со своими злодейскими шайками. Высланный наконец жителями из Пскова и не впушенный в крепкий Ивань-город, он взял Вороночь, Красный, Заволочье; напал на малочисленные отряды шведов; грабил, где и кого мог. Тихвин, Ладога сдались генералу Делагарди на условиях новгородских; Орешек не сдавался».

Последние слова последнего тома.

Орешек не сдавался.

В том же 1829 году — второе полное издание 12 томов, 6538 примечаний.

В 1830—1831 — третье издание.

Четвертое — 1833—1835 годы, пятое — в 1842—1843, шестое в 1853-м. Затем — еще и еще полные издания; а также сокращенные «для публики» (без примечаний). Последние полные издания — в начале XX века; отрывки, извлечения — во многих хрестоматиях, сборниках наших дней. Одновременно переиздавалось наследие Карамзина «не историка»: прозаика, поэт, журналиста, публициста, человека. Кое-что появлялось впервые:

1860 год — письма Карамзина к А. Ф. Малиновскому.

1866 — письма Карамзина к Дмитриеву.

Тогда же: «Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями (М. П. Погодина)». Часть I и II.

1897 — «Письма Карамзина к князю Вяземскому 1810 — 1826 годов».

1914 — впервые полностью выходит «Записка о древней и новой России». В 1914-м Академия наук собиралась издавать полное, академическое собрание Карамзина, но надеялась ли получить один из главных источников «живой воды» — архив писателя-историка?

Нет главного архива Карамзина — и одно это уже предмет для воображения и рассуждения: первый историк, так ценивший древнюю и новую рукописную память, но почему-то почти не оставивший нам своей!

В этом, если угодно, нечто мистическое. Карамзин не желает являться сомневающимся, несовершенным, в «домашнем платье» — только в законченной, изящной форме, при параде.

Действительно, несколько сотен писем к Дмитриеву за десятки лет (бесценная исповедь, изданная отдельной книжкой!). И ни одного ответного послания Дмитриева — Карамзину...

Десятки писем историка к Жуковскому, Тургеневу, Малиновскому — почти без ответных (несколько исключений подтверждают правило). С Пушкиным вряд ли была переписка, но уж сочувственное послание вдове, наверное, пришло из Михайловского — где же оно?

Два раза бумаги Карамзина пропали из-за обыкновенных российских причин.

Сначала, как уже говорилось в начале книги, — перед угрозой обыска, ареста по делу Н. И. Новикова и его товарищей.

Затем — 1812 год, московский пожар. Но после 1812-го Карамзин обыска ведь не боялся и войны не было. Готовясь к смерти, он все же думал и о поездке в Италию и об окончании двенадцатого тома. Значит

22 мая 1826 года его кабинет был наполнен разнообразнейшими бумагами, которыми пользовались друзья, завершавшие издание Истории.

Повторим и о третьей причине исчезновения карамзинских рукописей.

Почти уверенно можем судить, что на квартире Карамзина не производилось посмертного обыска, какой был, например, у Пушкина: иначе была бы обязательно изъята секретная переписка историографа с Александром I, а она, точно известно, хранилась в семье и была полностью обнаружена внуками и правнуками только много лет спустя.

Как видим, не все письма истреблялись, а сверх писем — сколько было черновиков, конспектов, копий исторических документов — всего, что водится в кабинетах историков.

Выходит, родственники Карамзина, высокообразованные, яркие люди представили в печать далеко не все рукописное наследие историографа — и это в эпоху, когда он считался среди величайших; когда ему, одному из первых русских литераторов, воздвигли памятник — на родине, в Симбирске, в 1845-м*; когда его неизвестные строки, страницы были бы жадно приняты в любом журнале...

Чем торжественнее произносилось имя Карамзина, тем недоступнее делались его бумаги.

Архив мог, наверное, помешать...

СУД ПОТОМСТВА

Споры вокруг имени и наследия писателя-историка, начавшиеся при его жизни, делались все жестче. Споры о самых серьезных вещах: о прошлом и настоящем, об их взаимодействии в исторических трудах и в жизни Карамзина.

Литература огромная, и даже десятка книг вроде нашей не хватило бы для подробного ее разбора.

Но все же, когда дискуссии длятся столетие (а некоторые продолжаются и в наши дни), есть возможность вычлнить главное, увидеть некоторые общие контуры, не затемненные частностями.

Попробуем же...

Первая точка зрения, уже представленная в прежних главах, но с годами развивающаяся: *критика научная*.

То, что писал в 1829 году Николай Полевой, очень характерно и для его предшественников и для позднейших откликов: «Мы скажем, что никто из русских писателей не пользовался такою славою, как Карамзин, и никто более его не заслуживал сей славы. Подвиг Карамзина достоин хвалы и удивления. Хорошо зная всех отечественных, современных нам литераторов, мы осмеливаемся утверждать, что ныне никто из всех литераторов русских не может быть даже его преемником, не только подумать шагнуть далее Карамзина. Довольно ли этого?»

Отдавая должное новым материалам, слогу, общественному влиянию «Истории...», Полевой верно отмечает, что Карамзин «угадал стремление времени»; «шел впереди всех и делал всех более».

* «Высочайшее согласие» на сооружение памятника было дано в 1833 году.

Однако «не ищите в нем высшего взгляда на события... Придет по годам событие: Карамзин описывает его и думает, что исполнил долг свой, не знает или не хочет знать, что событие важное не вырастает мгновенно, как гриб после дождя, что причины его скрываются глубоко, и взрыв означает только, что фитиль, проведенный к подкопу, догорел, а положен и зажжен был гораздо прежде».

Историк осуждается за то, что в последних томах видна «усталость», что красноречие его — за счет мысли; критик видит здесь «общий недостаток писателей XVIII века, который разделял с ними и Карамзин... Так, дойдя до революции при Карле I, Юм искренне думает, что внешние безделки оскорбили народ и произвели революцию... Даже в наше время, повествуя о французской революции, разве не полагали, что философы развратили Францию, французы, по природе ветреники, одурели от чада философии и — вспыхнула революция! Но когда описывают вам самые события, то Юм и Робертсон говорят верно, точно: и Карамзин также описывает события, как критик благоразумный, человек, знающий подробности их весьма хорошо».

Тут у Полевого много верного. Действительно — как доходит до дела, до описания события, красноречивый рассказ Карамзина сильнее его теорий. Однако многие читатели и последователи покойного историкографа не могли принять вывод критика, будто «Карамзин велик только для нынешней России, и в отношении к нынешней России не более», что «истинная идея истории была недоступна Карамзину».

Карамзина обвиняли и в том, что в его Истории «нет одного общего начала», нет должной связи с историей человечества, есть масса мелких подробностей, но нет «духа народного»: он дает только «стройную продолжительную галерею портретов, поставленных в одинакие рамки, нарисованных не с натуры, но по воле художника, и одетых также по его воле. Это летопись, написанная мастером, художником таланта превосходного, убедительного, а не История».

Полевому, как известно, отвечал Пушкин. Мы отнюдь не собираемся сразу же присоединяться к гению — ибо речь идет не столько о соревновании талантов, сколько о столкновении идей.

В 1830 году Пушкин рецензирует первый том сочиненной Полевым «Истории русского народа» (название было тоже формой полемики с Карамзиным): «Приемлем смелость заметить г-ну Полевому, что он поступил, по крайней мере, неискусно, напад на „Историю Государства Российского“ в то самое время, как начинал печатать „Историю русского народа“». Чем полнее, чем искреннее отдал бы он справедливость Карамзину, чем смиреннее отозвался бы он о самом себе, тем охотнее были бы все готовы приветствовать его появление на поприще, ознаменованном бессмертным трудом его предшественника. Он отдал бы от себя нареkania, правдоподобные, если не совсем справедливые. Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству, как некогда, по указу эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно».

Вслед за этими строками и следуют афористические пушкинские определения: «Карамзин есть первый наш историк и последний лето-

писец. Свою критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами* хронике».

Так через несколько лет после смерти историографа выявились два взгляда на его труд. Можно было бы сказать, что один — более со стороны строгой науки; другой — широкий, общественно-художественный. Не торопясь присоединиться или возразить, сразу скажем, что у каждого есть своя правда — как в любом серьезном суждении.

Обе позиции тотчас после их провозглашения нашли сторонников; затем дискуссия продлится, углубится, обрстет новыми идеями, ответвлениями. Критические строки, сходные более или менее с теми, что написал Полевой, вдруг обнаруживаются у деятелей совершенно разного, порою и противоположного толка; впрочем, суровые критические оценки Карамзина иногда соседствуют с горячей похвалой в сочинениях одного и того же автора.

Вот несколько примеров:

Белинский: «Заметим, что Карамзин не одного Пушкина — несколько поколений увлек... свою „Историей Государства Российского“, которая имела на них сильное влияние не одним своим слогом, как думают, но гораздо больше своим духом, направлением... Пушкин до того вошел в ее дух, до того проникнулся им, что сделался решительным рыцарем „Истории“ Карамзина». Притом критик находит, что «если творения [Карамзина] отжили свое время, тем не менее имя его будет всегда знаменито и почтенно, даже бессмертно».

Чаадаев, с одной стороны, (в письме к А. И. Тургеневу, 1837 г.) пропел гимн Карамзину: «Что касается в особенности до Карамзина, то скажу тебе, что с каждым днем более и более научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он свое отечество! Как простодушно любовался он его огромностию и как хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой огромности!»

Последние слова, впрочем, отражают уже сложную историческую концепцию философа, который отчасти приписывает Карамзину свои собственные слова.

В другом же документе Чаадаев замечает, что «мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным образом характеризовано, ни один из великих переломов нашей истории не был добросовестно оценен». Не без иронии дальше пишется, что «Карамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших государей; в наши дни плохие писатели, неумелые антиквари и несколько неудавшихся поэтов, не владея ни ученостью немцев, ни пером знаменитого историка, самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит: таков итог наших трудов по национальной истории».

С. М. Соловьев, признавая себя и своих коллег наследниками Карамзина, тоже видит в нем все больше ревнителя прошлого; задача же историка — превращение своего предмета в науку.

Еще суровее специалисты в конце XIX — начале XX столетия. Вот как

* Апофегма — краткое изречение, афоризм.

отзывался о карамзинской Истории П. Н. Милюков: «С своими взглядами на задачи историка Карамзин остался вне господствующих течений русской историографии и не участвовал в ее последовательном развитии... Не внося ничего нового в общее понимание русской истории, Карамзин и в разработке подробностей находился в сильной зависимости от своих предшественников». От Щербатова Карамзин отступает «не к пользе истины, в картинных описаниях „действий“ и сентиментально-психологической обрисовке „характеров“». Особенности литературной формы „Истории Государства Российского“ доставили ей широкое распространение. Но те же особенности, которые делали „Историю“ превосходной для своего времени популярной книгой, уже тогда лишали ее текст серьезного научного значения».

Наконец, в специальной статье о Карамзине, опубликованной в начале 1917-го в «Русском историческом журнале», А. А. Кизеветтер соглашается с Милюковым, что карамзинская История крупное событие «в ходе нашей образованности», но — не «в развитии нашей науки»; он находит также, что у Карамзина «заглавие труда не совпадает с содержанием: это и не история государства, это история государей».

Итак, снова и снова серьезные упреки в недостатке философии, теории: сказочки вместо подлинной истории! Академическая критика притом не раз касается деликатных политических проблем: Милюков намекает на декабристов, когда пишет, что в 1820-х «интеллигентные кружки находили ее [«Историю» Карамзина] отсталой по общим взглядам и тенденциозной, а позже — „История“ Карамзина делается знаменем официально-«русского» направления».

Как видим, линия Полевого к началу XX столетия укрепилась прежде всего успехами послекарамзинской истории-науки. Акции Карамзинисторика в глазах его коллег постоянно снижались... Некоторые специалисты полагали, что «История Карамзина уже устарела, когда вышла в свет», что «История Государства Российского» «в наше время представляет лишь историографический интерес».

Не замирает, однако, и голос защиты. Вместе с Пушкиным и после него много и интересно говорят об «Истории Государства Российского» прежние друзья автора.

Вяземский хлопочет, может быть, более других о сохранении карамзинского наследства; он пишет Дмитриеву (17. IX. 1832 г.): «Многое из того, что видели мы сами, перешло уже в баснословные предания, или и вовсе поглощено забвением. Надобно сдавать свою драгоценность в сохранное место».

В 1837-м: «Век Карамзина и Дмитриева сменяется веком Сенковского и Булгарина».

Блудов утверждал, что «против Карамзина говорили наиболее те, которые обильно в его источнике почерпали и в его школе образовались».

Позже Вяземский сердится еще сильнее, особенно на молодых: «Ныне слог причисляется к каким-то предубеждениям и слабоумиям чопорной старины... Хотят ли порицать сочинение... не находят более убийственного приговора, как следующий: сочинение писано карамзинским слогом... А меж тем искусство существует».

«Для нас уж Пушкин стар, давай нам помоложе».

Однако все чаще защита друзей сбивается на панегирик, на обвинения

тем, кто осмелился о Карамзине толковать без должного почтения. Сам Вяземский однажды услышал упрек от дочери историографа, что пишет биографию Фонвизина, а не Карамзина. Вяземский отвечал: «Ведь не напишешь же биографии, например, горячо любимого отца».

Иными словами, нет биографии без разбора сильных и слабых сторон...

Один из больших почитателей Карамзина П. А. Плетнев заметил другому — Я. К. Гроту, что он не боялся бы писать биографии, например, И. А. Крылова: «Нечего церемониться, какой бы смешной случай ни пришлось рассказать: Попробуй это сделать с Карамзиным... претензий не оберешься».

Цензура меж тем не пропускала и некоторые страницы самого историографа. «История (как утверждалось в шишковском цензурном уставе 1826 года) не должна заключать в себе произвольных умствований, которые не принадлежат к повествованию». Погодину в 1846 году запретили перепечатывать некоторые карамзинские тексты, уже пропущенные четверть века назад. В 1853 году цензор вычеркнул из одного многократно издававшегося сочинения Карамзина слово «сограждане» как «революционное».

Карамзин, очищенный; упрощенный до одной ноты, идеализированный до блеска — друзьями из добрых побуждений, властями «из видов» — становится все более официальной фигурой. Собственно, это и закреплено николаевской формулой: Карамзин «...умирал, как ангел».

Все чаще и чаще в самых верноподданных изданиях мелькают обороты в духе — «священное имя Карамзина». С годами власть все сильнее стремится его присвоить, а еще здравствующие друзья (Вяземский) часто идут ей навстречу.

Столетие со дня рождения историка (1866) проходило среди молебнов, славословий, в присутствии великих князей, официальных deputаций. В Киевском университете, например, (как видно из газет) юбилейная церемония состояла из богослужения, в котором участвовали митрополит, два архимандрита, четыре протоиерея; затем — провозглашено здравие государя, произнесена речь попечителя, выдержанная в тоне предельной апологии самодержавия и православия. Хор пропел строфы из карамзинской оды «На торжественное коронование его императорского величества Александра I самодержца Всероссийского». Этот юбилей притом противопоставлялся недавнему покушению Каракозова на Александра II: «В настоящую эпоху брожения и борьбы разнородных идей, шаткости убеждений и отрицания нравственных идеалов как бы сама судьба вызывает из прошедшего светлый образ Карамзина».

Демократическая молодежь, конечно, холодно отнеслась к такого рода празднествам, и официальный «Русский инвалид» (14 декабря 1866 г.) сетовал, что в Одессе «публика не приняла в нем почти никакого участия. Несмотря на троекратное приглашение *Одесского Вестника*, она собралась в университете в таком ничтожном количестве, что об энтузиазме ее к памяти великих людей России не могло быть много речи».

Ученики Карамзина надеялись на общественный интерес к новым материалам о жизни и творчестве учителя, чем в основном ведал М. П. Погодин. П. М. Строев писал ему в те дни: «Помоги бог в тяжком труде вашем. Карамзин решительно упал, частью сам собою, частью по совре-

менному направлению литературы нашей; необходимо, сколько возможно, приподнять его. Не успеете ли вы в этом подвиге?»

Разумеется, в юбилейных речах, статьях об историке говорилось и много дельного, интересного. В Академии наук признавали, например, что «критика составляла слабую сторону исторических достоинств Карамзина», воздали хвалу нравственной личности историка, поднимавшей «достоинство истории». Откликнулся и ряд западных ученых — в том числе выдающийся немецкий историк Леопольд Ранке: «Карамзин имеет главным образом ту заслугу, которой именно я не в состоянии оценить: он писал превосходно на своем языке, доступно для своего народа и через то сделался популярным. Но его популярность приобретена им не за счет учености в исследованиях. Я обращался к его труду с пользою во всех тех случаях, которых он касается, и живо чувствовал отсутствие его в тех эпохах, о которых он не писал. <...> Он писал не только для своего народа, но и вообще для целого мира».

Все это, однако, не меняло общей картины.

«КАРАМЗИН РЕШИТЕЛЬНО УПАЛ»

Катенин (1828): «История его подлая и педантичная, а все прочие его сочинения жалкое детство; может быть, первого сказать нельзя, но второе должно сказать и доказать».

Кюхельбекер, отдавая должное слогу, умению Карамзина, все же замечает — «покойный и спокойный историограф».

«Карамзин менее либеральный, чем император», — запишет один из русских заграничных издателей.

Герцен — человек совсем не карамзинских идей, но сам изумительный историк-художник: «Великое творение Карамзина, памятник, воздвигнутый им для потомства, — это двенадцать томов русской истории... Но Карамзину не хватало того саркастического элемента, который от Фонвизина перешел к Крылову и даже к Дмитриеву — задушевному другу Карамзина. В мягком и доброжелательном Карамзине было что-то немецкое. Можно было заранее предсказать, что из-за своей сентиментальности Карамзин попадет в императорские сети, как попался позже поэт Жуковский. История России сблизила Карамзина с Александром. Он читал ему *дерзостные* страницы, в которых клеймил тиранию Ивана Грозного и возлагал иммортели на могилу Новгородской республики. Александр слушал его с вниманием и волнением и тихонько пожимал руку историографа. Александр был слишком хорошо воспитан, чтобы одобрять Ивана, который нередко приказывал распиливать своих врагов надвое, и чтобы не повздыхать над участью Новгорода, хотя отлично знал, что граф Аракчеев уже вводил там военные поселения».

Чернышевский, говоря о Карамзине и писателях XVIII века, призывает восхищаться «тем, что было у этих писателей лучшего», но в то же время находит, что «при появлении Пушкина русская литература состояла из одних стихов, не знала прозы и продолжала не знать ее до начала 30-х годов».

Проза карамзинской «Истории», которую сам Пушкин считал образцовой, как видим, в расчет не принимается.

Мы выбрали несколько оценок с революционной стороны; еще красноречивее их отсутствие или почти полное отсутствие в конце XIX — начале XX века.

Не на карамзинских путях русская освободительная мысль ищет выхода — и все реже упоминает, цитирует историка-художника, монархиста, консерватора.

За это он подвергается, как видим, критике и опале даже со стороны либеральной (Милоков, Кизеветтер).

Наконец, была еще славянофильская, почвенническая критика: с одной стороны, Карамзин здесь пользовался полным признанием — за живые образы допетровской Руси, за критический взгляд на Петра I; по мнению И. Киреевского, историк — «чистая совесть нашего народа»; но при этом — Карамзин подозревается в незнании России.

И. С. Аксаков: «У Карамзина... гладкая, даже изящная или безличная нерусскость».

Достоевский вспоминал, что уже к десяти годам «знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которую всегда по вечерам нам читал отец»; но при этом писатель смеялся над незнанием народа, о котором надо судить «не по карамзинским повестям и по фарфоровым пейзажикам».

Тоньше других судит *Аполлон Григорьев*. Он тоже отмечает «непонимание народности», но притом находит, что «образ мыслей и чувствований», равно как и язык Карамзина, улучшаясь с годами, все более и более приближается к языку старых памятников.

Григорьев, можно сказать, вызывающе непоследователен — и в этой противоречивости живая мысль, искреннее нежелание свести концы с концами «любой ценой». «Карамзиным и его деятельностью общество начало жить нравственно». Написав это, Григорьев затем продолжает «как многие»: «Для нас, людей иной эпохи, в Карамзине почти что ничего не осталось такого, чем бы мы могли нравственно жить хотя один день; но без толчка, данного литературе и жизни Карамзиным, мы не были бы тем, чем мы теперь». Однако автор чуть ли не берет обратно сказанное, вспоминая с наслаждением свое «суеверное уважение к Карамзину»: «Как только перенесся я в его эпоху и в лета собственного отрочества, как только припомнил „Письма русского путешественника“... Белинский попрекал их за *пустоту*. Все это так... А все-таки „Письма“ — книга удивительная!..»

Григорьев принадлежит к тем немногим читателям Карамзина, кто желает взглянуть многогранно, уйти от «общепринятых крайностей». Тут Григорьев продолжил линию Пушкина; к ней явно близок и Гоголь, который, разумеется, не мог принять карамзинской манеры письма, но притом полагает, что «Карамзин представляет... явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнителен, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять». Гоголь надеялся, что настоящая оценка еще впереди. «О Державине, Карамзине, Крылове ничего не сказали или сказали то, что говорит уездный учитель своему ученику, и отделались пошлыми фразами».

«НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛИ ИЛИ ОТДЕЛИЛИСЬ...»

Только что обозначенная линия исторического, нравственного понимания, не скрываем, кажется нам наиболее близкой к истине.

Но в течение многих десятилетий ее почти не замечают, почти не слышат; тут отнюдь не упрек, а исторический факт: российская мысль, политическая, идейная борьба второй половины XIX — начала XX века развивалась в сложном водовороте притяжений и отталкиваний, где для таких явлений, как Карамзин, часто находились категорические, крайние, страстные оценки: либо панегирик, либо — «решительно упал».

Не оттого ли потомки историографа боялись публиковать больше, чем «нужно»?

Официальная версия *ангельской* жизни не должна быть замутнена и, что греха таить, 50 000 ежегодной пенсии (за 40 лет более двух миллионов) тут играли свою роль: да не только и не столько в грубо материальном смысле (все равно же не возьмут обратно!), сколько в моральном: неудобно, невозможно при такой награде говорить вольно, «выходить из образа», представлять настоящего Карамзина, который хвалил только то, что мог порицать, кто критиковал царя *справа*, но с *левой* дерзостью, кто защищал монархический принцип описанием таких самодержавных злодейств, что читатели «шли в декабристы»; кто не зря сердился за восемь дней до смерти, что пенсия чересчур велика...

В 1911 году многознающий редактор «Русского архива» П. И. Бартев поместил в своем журнале заметку о богатом собрании неопубликованных бумаг Карамзина, находившемся у его внуков Мещерских в имении Дугине Сычевского уезда Смоленской губернии.

В 1915 году известный пушкинист Модзалевский описал бесценный альбом дочери Карамзина Екатерины Николаевны Мещерской (где были, между прочим, и автографы Пушкина). Альбом был утрачен во время революции.

И 90 лет спустя семья как видим, придерживала архив, боясь, как бы Карамзин *не высказался*...

Бумаги Мещерских... Самое любопытное, что огромный архив именно *тех* Мещерских, которые (породнившись с родом Паниных) владели до самой революции смоленским имением Дугино, — этот архив *сохранился*.

В Центральном государственном архиве древних актов (ф. князей Мещерских) две с лишним тысячи «единиц хранения»: личная переписка, бухгалтерские счета того самого Дугина — вплоть до революции.

Но где же здесь бумаги карамзинские?

Всего два-три документа, имеющих весьма косвенное отношение к историографу.

Как видно, в имении было два сундучка — один повседневный, хозяйственный, семьи Мещерских; другой — с карамзинскими реликвиями.

Куда он девался? Сгорел, но ведь другой, рядом уцелел...

Вывезен за границу? — Но там не было ни одной публикации...

Растворился в других собраниях — может быть!

Закопан в земле — возможно!

Требуется розыска? Без сомнения!

Таковы некоторые черты причудливой судьбы «Истории Государства Российского».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

200 лет было тому старику, которому удивлялся Карамзин перед смертью... Два века — особенно последние два — это очень много (столько же, сколько от нас до конца XXII столетия).

Автор «Истории Государства Российского» — человек астрономически далекой эпохи, чей язык и убеждения считались глубокой стариной уже в 1840-х годах!

Но чудеса: статистика научных и литературных работ ясно показывает, что за последнее двадцатилетие (после многолетнего спада с конца XIX века почти до наших дней) количество книг, статей, эссе, публикаций о Карамзине явно растет.

С громким успехом «Бедная Лиза» явилась на сцену одного из лучших театров страны, Большого Драматического в Ленинграде.

«Письма русского путешественника», в советское время печатавшиеся чаще всего в отрывках, в хрестоматиях, выходят в 1980 и 1982 годах (и сверх того, ожидаются в «Литературных памятниках»). Но сколько сетований, что их трудно достать при тираже в сотни раз больше первого издания. И, разумеется, предполагаемое советское переиздание «Истории Государства Российского» разойдется мгновенно, хотя тираж будет, наверное, поболее всех дореволюционных, взятых вместе.

Значит, есть общественная потребность в книгах *двухсотлетнего* автора. Пусть притом — и мода, поверхностное любопытство, но это ведь побочные дети спроса настоящего!

Отчего же?

Нелегко ответить, но все же попытаемся...

Карамзин — виднейший деятель своей эпохи, реформатор языка, один из отцов русского сентиментализма, историк, публицист, автор стихов, прозы, на которых воспитывались поколения. Все это достаточно для того, чтобы изучать, уважать, признавать; но недостаточно, чтобы полюбить — в литературе, в себе самих, а не в мире прадедов.

Кажется, две черты биографии и творчества Карамзина делают его одним из наших собеседников.

Историк-художник.

Над этим посмеивались уже в 1820-х, от этого позже старались уйти в научную сторону, но именно этого, кажется, не хватает полтора века спустя!

Пушкинское — «Последний летописец» означало, что больше летописцев не будет; век другой, взгляд иной: история идет своим путем, художественная литература своим, изредка пересекаясь, но в общем обособляясь. Лермонтов, Толстой, Булгаков увлечены прошлым, но сочиняют поэмы, повести, романы; Ключевский, Гартле обладают художественным даром, но все-таки прежде всего ученые, избегающие такого совмещения науки и «летописи», какое было в «Истории Государства Российского».

В самом деле, Карамзин-историк предлагал одновременно два способа познавать прошлое; один — научный, объективный: новые факты, понятия, закономерности; другой — художественный, *субъективный*. Истори-

ограф как будто спрашивал, не следует ли — очень осторожно, тонко умело, не всегда, а только в необходимых случаях — эту субъективность..увеличивать? Формула «чем субъективнее, тем объективнее» выглядит антинаучной; и такой она и является у легковесной посредственности. Однако если речь идет о субъективности талантливого историка-художника, это совсем другое. Он своей личностью, духом, дарованием так объединяет рассыпанные факты, так заполняет «пустоты», что создает важную, ценную модель общего хода событий... Было замечено, к примеру, что, толкуя о Грозном, о гибели царевича Дмитрия в Угличе, Карамзин ведет почти «репортаж» событий, постоянно присоединяясь к древнему летописцу, очевидцу происшествий. Историк, вместо того, чтобы разобрать, столкнуть разные версии и вывести наиболее вероятную (как это сделало бы большинство позднейших ученых), передает случившееся в XVI веке, как будто он сам всему свидетель, а разные точки зрения «отодвигает» во вторую часть тома, в *примечания*: главное — не раздробить цельного, горячего описания тех событий...

Да, при этом как будто отступает исторический анализ, подобному историку меньше можно верить в частностях, но зато схвачено нечто для Карамзина более важное — дух целого, летописная *атмосфера прошлого*.

Достижения послекарамзинской историографии огромны: «История человечества уже перестала казаться нелепым клубком бессмысленных насилий... она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей». (Энгельс).

Вскоре после кончины Карамзина его знаменитый (и уже упоминавшийся) коллега Леопольд Ранке произнесет формулу, которая на много лет станет ответом на вопрос — к чему должен стремиться историк?

К тому, чтобы узнать — «как собственно было на самом деле».

Просто, ясно. Карамзин бы согласился. Пушкин — тоже (хотя и призадумался бы).

Как, собственно, было на самом деле?

С тех пор много воды утекло и много книг написано.

Все громче и чаще звучат возражения против формулы Ранке. Одно из них (М. Н. Покровского) казалось чересчур дерзким: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». Другая «редакция» этой же формулы (Б. Кроче) более гибкая: «Всякая история есть в определенном смысле современная история».

Речь идет, снова повторяем, о субъективно честном, добросовестном историке. Но и кристально чистый исследователь — все равно человек своего времени, и это неминуемо скажется на изображении им любого минувшего столетия и тысячелетия; скажется независимо от любых стараний мастера, чтобы ничего подобного не было; большой знаток этой проблемы английский историк Коллингвуд (чей труд «Идея истории» недавно переведен на русский язык) замечает, что, во-первых, всякий историк ограничен дошедшими из прошлого (а еще более — не дошедшими!) фактами, памятниками; из того, что осталось, он и строит «мо-

дель» нужного ему исторического явления. Однако всегда ли из мира предков доходит к нам наиболее существенное, типичное? Во-вторых, отбирая из миллиона фактов, скажем, тысячу или сотню, историк (Карамзин, Ранке — кто угодно) руководствуется своими критериями — что важно, а что нет. Чем научнее, объективнее критерий, тем лучше. Карамзин, как уже говорилось, куда меньше, чем более поздние историки, пишет об экономических вопросах, значении народного сопротивления и т. п. Отчего же? Да оттого, что совершенно искренне — в духе своего воспитания, положения, мировоззрения — считает, что это не так уж важно; мы сегодня с ним не согласны, но сами, в свою очередь, возможно упускаем, откладываем в сторону как второстепенное нечто такое, о чем в XXII, XXIX веках будут толковать куда больше!

Итак, фактов мало, отбор их зависит от позиции наблюдателя; в-третьих, истолкование фактов, логические выводы — это ведь тоже модель, где пустоты между «островками известного» заполняются логикой историка, но не всегда — его героев (Карамзина, как мы знаем, современники упрекали, что древние князья, монахи, воины у него уж слишком похожи на граждан XVIII—XIX столетий).

Итак, к исторической истине стремиться должно, получить ее можно, но не следует и сегодня забывать, что мы восстанавливаем целостную картину прошлого по частным, порою случайным деталям. Эта операция *по природе своей* не только научная, объективная, но и в немалой степени художественная, субъективная. А если так, значит, и сегодня, на высоком витке историографической спирали, можно и должно воспользоваться опытом старых мастеров, разумеется, не в буквальном, наивном смысле.

Сегодняшний ученый, не отказываясь ни от одного научного завоевания, может, полагаем, найти массу ценного, поучительного в методе Карамзина и ему подобных первых историков и «последних летописцев». К тому же, стремясь к строгой, объективной картине, специалисты новейшего времени, вооруженные мощными научными методами, кое-что и утратили по сравнению со старыми историографами. Открылось, например, что современный ученый куда лучше, легче «управляется» с большими массами людей, нежели с отдельными личностями: класс, сословие, нация — закономерности подобных общественных категорий, кажется, более поддаются объективному анализу, нежели биография, внутреннее развитие одного исторического лица. Между тем Карамзин и другие историки-художники как раз достигали больших высот в «портретировании» своих героев, в анализе их намерений и действий.

Было бы очень легкомысленным просто отмахнуться от «художественного» метода в истории, как связанного с выдумкой, домыслом; не попытавшись разобраться, как же при этом достигались существенные результаты при воссоздании ушедших веков? К тому же ряд знаменитых исследователей XIX—XX веков, отрицая старинный субъективизм во имя высшей объективности, практически в своей работе ведь все равно пользуются художественно-обобщающими характеристиками.

Итак, образ историка-художника принадлежит не только прошлому; совпадение позиции Карамзина и некоторых новейших концепций о сущности исторического познания — это говорит само за себя!

Такова, полагаем, первая черта «злободневности» карамзинских трудов.

А во-вторых, еще и еще раз отметим тот замечательный вклад в русскую культуру, который именуется *личностью Карамзина*.

Всякая личность — вклад в культуру, положительный или отрицательный, узкий или широкий.

Личность же писателя, художника, ученого, общественного деятеля имеет особые возможности для тысячекратного «самовоспроизведения» — в книгах, произведениях искусства, открытиях, политических действиях...

Карамзин — высоко нравственная, привлекательная личность, которая на многих влияла прямым примером, дружбою; но куда на большее число — присутствием этой личности в стихах, повестях, статьях и особенно в Истории.

Пушкинское «*Подвиг честного человека*» — это ведь моральная оценка крупного, многолетнего, научного труда. За строкою великого поэта-историка мысль о сверхчеловеческой трудности, подвиге — писать Историю, себе не изменить, не подладиться к сильным лицам или, наоборот, к молве, моде, «крылатой новизне»...

Решимся сказать, что это был и подвиг *свободного человека*: Карамзин ведь был одним из самых внутренне свободных людей своей эпохи, а среди друзей, приятелей его множество прекрасных, *лучших* людей; спокойно, никогда не споря с критиками, Карамзин свободно разговаривал и с царями и с декабристами, никого и ничего не боясь. Писал, что думал, рисовал исторические характеры на основе огромного, нового материала; сумел открыть древнюю Россию, как Америку Колумб, сообщить о своем открытии максимально возможному числу людей и притом — сохранить достоинство Истории, достоинство Историка.

«Карамзин есть наш первый историк и последний летописец».

Его любили, оспаривали, читали, бранили, учились...

Интерес общественный, народный — тоже культурный фактор, который как бы присоединяется к творению и, включаясь в его ткань, тоже светит потомкам.

Никуда не деться: открывая карамзинские главы о Мономахе, Батые, Куликовом поле, опричных казнях, избрании Годунова, самозванцах, сибирских казаках, мы уже не можем никак отвлечься от при сем присутствующих первых читателей: от батушковского «такой прозы никогда и нигде не слыхал», от рылеевского «Ну, Грозный! Ну, Карамзин!», от пушкинского посвящения на титульном листе «Бориса»...

Энергия их души и мысли будто запечатлелась между строками двенадцатитомника, и оттого это памятник целой эпохи, нескольких культурных поколений — одна из ярчайших форм соединения времен: IX—XVII веков Истории, XVIII—XIX веков Историка, XIX—XX веков Читателя.

«И поклон всему миру, не холодный, с движением руки навстречу потомству, ласковому или спесивому, как ему угодно...»

Краткий список использованных материалов

I. Архивные материалы

- Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей:
фонд 178 (А. А. Краевского),
фонд 286 (В. А. Жуковского),
фонд 588 (погодинские автографы),
фонд 603 (С. Д. Полторацкого).
Центральный Государственный архив литературы и искусства:
фонд 195 (Вяземских),
фонд 198 (В. А. Жуковского),
фонд 248 (Н. М. Карамзина).
Центральный Государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР:
фонд 728 (рукописное собрание Зимнего дворца).
Центральный Государственный исторический архив СССР:
фонд 951 (Н. М. Карамзина).

II. Литература

- Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд., т. 20. М., 1961.
Архив братьев Тургеневых. Вып. 1—3, 5—6. Спб.; Пг., 1911—1921.
Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915.
Барсуков Н. П. Жизнь и труды П. М. Строева. Спб., 1878.
Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. I, V—VII, X. М., 1953—1956.
Батюшков К. Н. Сочинения. Т. I—III. Спб., 1885—1887.
Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972.
Верещагина Е. И. Маргиналии и другие пометы декабриста Н. М. Муравьева на «Письмах русского путешественника» в 9-томном издании «Сочинений» Карамзина 1814 года. — В сб.: Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. М., 1981.
Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. I, II, VIII, XII. Спб., 1878—1896.
Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1963.
Герцен А. И. Собрание сочинений в 30-ти т. Т. VI, VII. М., 1955—1956.
Гиллельсон М. И. Письма Н. М. Карамзина к С. С. Уварову. — В сб.: XVIII век. Вып. 8. Л., 1969.
Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969.
Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967.
Декабристы — критики «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. — Литературное наследство, т. 59.
Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. Записки. М., 1866.
Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869.
Жуковский В. А. Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.
Иконников В. С. Карамзин-историк. Спб., 1912.
Карамзин Н. М. [Автобиография]/Комм. Я. К. Грота. — Записки имп. АН, 1866. т. VIII, № 2.

- Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. Спб., 1914.
- Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. I—XII. 2-е изд. Спб., 1818—1829.
- Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Спб., 1862.
- Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1980.
- Карамзин Н. М. Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826. Спб., 1897.
- Карамзин Н. М. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866.
- Карамзин Н. М. Письма Карамзина к А. Ф. Малиновскому и письма Грибоедова к С. П. Бегичеву. М., 1860.
- Карамзин Н. М. Письма брату В. М. Карамзину — Атеней, 1858, № 19—28.
- Карамзин Н. М. Письма к императрице Марии Федоровне. — Русская старина, 1898, № 10.
- Карамзин Н. М. Письма Н. М. Карамзина М. Н. Муравьеву. — В кн.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг. Т. I. М.; Л., 1931, с. 141—148.
- Карамзин Н. М. Переписка с Николаем I. — Русский архив, 1906, № 1.
- Карамзин Н. М. Письмо Н. И. Новосильцеву. — Москвитянин, 1847, ч. 1.
- Карамзин Н. М. Письма А. И. Тургеневу. — Русская старина, 1899, № 1—4.
- Карамзин Н. М. Сочинения. 3-е изд. Т. I—IX. М., 1820.
- Катенин П. А. Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину: материалы для истории русской литературы 20-х—30-х годов XIX века. Спб., 1911.
- Каченовский М. Т. От Киевского читателя к его другу. — Вестник Европы, 1819, ч. 103—104.
- Кислягина Л. Г. Формирование общественно-политических взглядов Н. М. Карамзина. М., 1971.
- Козлов В. П. Колумбы российских древностей. М., 1981.
- Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография. М., 1980.
- Ланда С. С. Дух революционных преобразований. 1816—1825. М., 1975.
- Лотман Ю. М. Эволюция мировоззрения Карамзина. — Уч. зап. Тартуского университета. 1957. Вып. 51.
- Лузягина Л. П. «История государства Российского» и трагедия Пушкина «Борис Годунов»: к проблеме характера летописца. — Рус. лит., 1971, № 1.
- Макогоненко Г. П. Литературная позиция Карамзина в XIX веке. — Рус. лит., 1962, № 1.
- Меламед Е. И. Забытое письмо Н. М. Карамзина. — Рус. лит., 1976, № 3.
- Милюков П. Н. Статья «Карамзин» в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, т. 27. Остафьевский архив. Т. I, III.
- Погодин М. П. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. I, II. М., 1866.
- Полевой Н. А. История Государства Российского. Сочинение Н. М. Карамзина. Т. I—XII. — Московский телеграф, 1829, ч. XXVII, № 12.
- Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII — начало XIX в. Л., 1981.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. XI—XIII. М.; Л., 1937—1949.
- Пушкин и его современники, вып. VI. Спб., 1906.
- Розен А. Е. Записки. Спб., 1907.
- Сербинович К. С. Н. М. Карамзин: Воспоминания. — Русская старина, 1874, № 9—10.
- Соловьев С. М. Карамзин и его литературная деятельность. — В кн.: Соловьев С. М. Собрание сочинений. Спб., 1900.
- Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.
- Тургенев А. И. Переписка Александра Ивановича Тургенева с князем Петром Андреевичем Вяземским. Т. I, Пг., 1921.
- Тургенев Н. И. Россия и русские. Т. I—II. М., 1907.

- Тургенев Н. И. Декабрист Н. И. Тургенев — письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936.
- Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. Т. I—II. М., 1913—1914.
- Шильдер Н. К. Император Александр I. Т. IV. Спб., 1898.
- Штейнгель В. И. Письмо к Николаю I от 11/1 1826 г. — В сб.: Восстание декабристов. Т. 14. М., 1976.
- Шторм Г. П. Новое о Пушкине и Карамзине. — Известия АН СССР, отделение литературы и языка. М., 1960, т. XIX, вып. 2.
- Эйхенбаум Б. М. Карамзин. — В сб.: Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л., 1924.
- Языковский архив, вып. 1 (письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни. 1822—1829). Спб., 1913.

Н. М. КАРАМЗИН

ИЗ «ВВЕДЕНИЯ» К «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

ПРЕДИСЛОВИЕ

История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.

Правители, Законодатели действуют по указаниям Истории и смотрят на ее листы как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество, и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье.

Но и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и Государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества.

Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума! Любопытство сродно человеку, и просвещенному и дикому. На славных играх Олимпийских умолкал шум, и толпы безмолвствовали вокруг Геродота, читающего предания веков. Еще не зная употребления букв, народы уже любят Историю: старец указывает юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней Героя. Первые опыты наших предков в искусстве грамоты были посвящены Вере и Деисанию; омраченный густою сенью невежества народ с жадностию внимал сказаниям Летописцев. И вымыслы нравятся; но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимаемая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созида Царства, и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим: еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность.

Если всякая история, даже и неискусно писанная, бывает приятна, как говорит Плиний: тем более отечественная. Истинный Космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии: личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя. Пусть Греки, Римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого,

и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям: но имя Русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона. Всемирная История великими воспоминаниями украшает мир для ума, а Российская украшает отечество, где живем и чувствуем. Сколь привлекательны берега Волхова, Днепра, Дона, когда знаем, что в глубокой древности на них произошло! Не только Новгород, Киев, Владимир, но и хижины Ельца, Козельска, Галича делаются любопытными памятниками, и немые предметы красноречивыми. Тени минувших столетий везде рисуют картины перед нами.

Кроме особенного достоинства для нас, сынов России, ее летописи имеют общее. Взглянем на пространство сей единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков Африканских. Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами Естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, хладными и жаркими климатами: как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну Державу с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разнородных и столь удаленных друг от друга в степенях образования? Подобно Америке, Россия имеет своих Диких; подобно другим странам Европы, являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть Русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостью и мужеством снискал господство над девятою частию мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, внес их в общую систему Географии, Истории и просветил Божественною Верою, без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями Христианства в Европе и в Америке. но единственно примером лучшего.

Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого не Русского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей: ибо Греция и Рим были народными Державами и просвещеннее России; однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей Истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание Россиян при Донском, падение Новгорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время Междоусарствия. Великаны сумрака, Олег и сын Игорев; простосердечный витязь, слепец Василько; друг отечества, благолюбивый Мономах; Мстиславы Храбрые ужасные в битвах и пример незлобия в мире; Михаил Тверский, столь знаменитый великодушною смертью; злополучный, истинно мужественный Александр Невский; Герой юноша, победитель Мамаев, в самом легком начертании сильно действуют на воображение и сердце. Одно государство Иоанна III есть редкое богатство для Истории: по крайней мере не знаю Монарха достойнейшего жить и сиять в ее святылице. Лучи его славы падают на колыбель Петра — и между сими двумя Самодержцами удивительный Иоанн IV, Годунов, достойный своего счастья и несчастья, странный Лжедимитрий, и за сонмом доблестных Патриотов, Бояр и граждан, наставник трона, Первосвятитель Филарет с Державным сыном, светоносцем во тьме наших государственных бедствий, и Царь Алексий, мудрый отец Императора, коего назвала вели-

ким Европа. Или вся Новая История должна безмолвствовать, или Российская имеет право на внимание.

Знаю, что битвы нашего Удельного междоусобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума; что сей предмет не богат ни мыслями для Прагматика, ни красотами для живописца: но История не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на земле величественные горы и водопады, цветущие луга и долины; но сколько песков бесплодных и степен унылых! Однако ж путешествие вообще любезно человеку с живым чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды прелестные.

Не будем суеверны в нашем высоком понятии о Деесписаниях Древности. Если исключить из бессмертного творения Фукидидова вымышленные речи, что останется? голый рассказ о междоусобии Греческих городов: толпы злодействуют, режутся за честь Афин или Спарты, как у нас за честь Мономаха или Олегава Дому. Не много разности, если забудем, что сии полутигры изъяснялись языком Гомера, имели Софокловы Трагедии и статуи Фидиасовы. Глубокомысленный живописец Тацит всегда ли представляет нам великое, разительное? С умилением смотрим на Агриппину, несущую пепел Германика; с жалостью на рассеянные в лесу кости и доспехи Легиона Варова; с ужасом на кровавый пир неистовых Римлян, освещаемых пламенем Капитолия; с омерзением на чудовище тиранства, пожирающее остатки Республиканских добродетелей в столице мира: но скучные тяжбы городов о праве иметь жреца в том или другом храме и сухой Некролог Римских чиновников занимают много листов в Таците. Он завидовал Титу Ливию в богатстве предмета; а Ливий, плавный, красноречивый, иногда целые книги наполняет известиями о ошибках и разбоях, которые едва ли важнее Половецких набегов. — Одним словом, чтение всех Историй требует некоторого терпения, более или менее награждаемого удовольствием.

Историк России мог бы, конечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного народа, о составе Государства, представить важные, достопамятнейшие черты древности в искусной картине и начать обстоятельное повествование с Иоаннова времени, или с XV века, когда совершилось одно из величайших государственных творений в мире: он написал бы легко 200 или 300 красноречивых, приятных страниц, вместо многих книг, трудных для Автора, утомительных для Читателя. Но сии обозрения, сии картины не заменяют летописей, и кто читал единственно Робертсоново Введение в Историю Карла V, тот еще не имеет основательного, истинного понятия о Европе средних времен. Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих: тогда знаем Историю. Хвастливость Авторского красноречия и нега Читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие: а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастьях? Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней Истории; но добрые Россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?.. Так я мыслил и писал об *Игорях*,

о *Всеволодах*, как современник, смотря на них в тусклое зеркало древней Летописи с неутомимым вниманием, с искренним почтением; и если, вместо *живых, целых* образов, представлял единственно *тени, в отрываках*: то не моя вина: я не мог дополнять Летописи!

Есть *три* рода Истории: *первая* современная, например Фукидидова, где очевидный свидетель говорит о происшествиях; *вторая*, как Тацита, основывается на свежих словесных преданиях в близкое к описываемым действиям время; *третья* извлекается только из памятников, как наша до самого XVIII века. В *первой* и *второй* блистает ум, воображение Деписателя, который избирает любопытнейшее, цветит, украшает, иногда *творит*, не боясь обличения; скажет: *я так видел, так слышал* — и безмолвная Критика не мешает Читателю наслаждаться прекрасными описаниями. *Третий* род есть самый ограниченный для таланта: нельзя прибавить ни одной черты к известному; нельзя вопрошать мертвых; говорим, что предали нам современники; молчим, если они умолчали — или справедливая Критика заградит уста легкомысленному Историку, обязанному представлять единственно то, что сохранилось от веков в Летописях, в Архивах. Древние имели право вымышлять *речи* согласно с характером людей, с обстоятельствами: право, не оцененное для истинных дарований, и Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силою ума, красноречия, мудрых наставлений. Но мы, вопреки мнению Аббата Мабли, не можем ныне витийствовать в Истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее; здравый вкус уставил неизменные правила и навсегда отлучил Деписание от Поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зеркалом миновавшего, верным отзывом слов, действительно сказанных Героями веков. Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвященную не славе Писателя, не удовольствию Читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы. Как Естественная, так и Гражданская История не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть *могло*. Но История, говорят, наполнена ложью: скажем лучше, что в ней, как в деле человеческом, бывает примесь лжи; однако ж характер истины всегда более или менее сохраняется; и сего довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и деяниях. Тем взыскательнее и строже Критика; тем непозволительнее Историку, для выгод его дарования, обманывать добросовестных Читателей, мыслить и говорить за Героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества; не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство; открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного, чтобы Искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом.

Доселе древние служат нам образцами. Никто не превзошел Ливия в красоте повествования, Тацита в силе; вот главное! Знание всех Прав на свете, ученость Немецкая, остроумие Вольтерово, ни самое глубоко-мыслие Макиавелево в Историке не заменяют таланта изображать действия. Англичане славятся Юмом, Немцы Иоанном Мюллером, и справедливо: оба суть достойные совместники Древних — не подражатели:

ибо каждый век, каждый народ дает особенные краски искусному Бытописателю. «Не подражай Тациту, но пиши, как писал бы он на твоём месте!» есть правило Гения. Хотел ли Мюллер, часто вставляя в рассказ нравственные *апофегмы*, уподобиться Тациту? не знаю; но сие желание блистать умом или казаться глубокомысленным едва ли не противно истинному вкусу. Историк рассуждает только в объяснение дел, там, где мысли его как бы дополняют описание. Заметим, что сии апофегмы бываю для основательных умов или полустинами, или весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой цены в Истории, где ищем действий и характеров. Искусное повествование есть *долг* Бытописателя, а хорошая отдельная мысль *дар*: Читатель требует первого и благодарит за второе, когда уже требование его исполнено. Не так ли думал и благоразумный Юм, иногда весьма плодovitый в изъяснении причин, но до скупости умеренный в размышлениях? Историк, коего мы назвали бы совершеннейшим из Новых, если бы он не излишне *чуждался* Англии, не излишно хвалился беспристрастием и тем не охладил своего изящного творения! В Фукидиде видим всегда Афинского Грека, в Ливии всегда Римлянина, и пленяемся ими, и верим им. Чувство: *мы, наше*, оживляет повествование — и как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несосно в Историке: так любовь к отечеству дает его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души.

Обращаюсь к труду моему. Не позволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках; искал духа и жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближением частей, изображал не только бедствия и славу войны, но и все, что входит в состав гражданского бытия людей: успехи разума, искусства, обычаи, законы, промышленность; не боялся с важностью говорить о том, что уважалось предками; хотел, не изменяя своему веку, без гордости и насмешек описывать веки душевного младенчества, легковерия, баснословия; хотел представить и характер времени и характер Летописцев: ибо одно казалось мне нужным для другого. Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимыми; тем менее выбирал: ибо не бедные, а богатые избирают. Надлежало или не сказать ничего, или сказать все о каком-то Князе, дабы он жил в нашей памяти не одним сухим именем, но с некоторою нравственною физиогномиею. Прилежно *источая* материалы древнейшей Российской Истории, я ободрял себя мыслью, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники Поэзии! Взор наш, в созерцании великого пространства, не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного — к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?

Читатель заметит, что описываю деяния *не врознь*, по годам, и дням, но *совокупляю* их для удобнейшего впечатления в памяти. Историк не Летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место.

Множество сделанных мною примечаний и выписок устрашает меня самого. Счастливы древние: они не ведали сего мелочного труда, в коем теряется половина времени, сучает ум, вянет воображение: тягостная

жертва, приносимая *достоверности*, однако ж необходимая! Если бы все материалы были у нас собраны, изданы, очищены Критикою: то мне оставалось бы единственно ссылаться; но когда большая часть их в рукописях, в темноте; когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено — надобно вооружиться терпением. В воле Читателя заглядывать в сию пеструю смесь, которая служит иногда свидетельством, иногда объяснением или дополнением. Для охотников все бывает любопытно: старое имя, слово; малейшая черта древности дает повод к соображениям. С XV века уже менее выписываю: источники размножаются и делаются яснее.

Муж ученый и славный, Шлецер, сказал, что наша История имеет пять главных периодов; что Россия от 862 года до Святополка должна быть названа *рождающеюся* (Nascens), от Ярослава до Моголов *разделенною* (Divisa), от Батые до Иоанна III *угнетенною* (Oppressa), от Иоанна до Петра Великого *победоносною* (Victrix), от Петра до Екатерины II *процветающею*. Сия мысль кажется мне более остроумною, нежели основательною. 1) Век Св. Владимира был уже веком могущества и славы, а не *рождения*. 2) Государство *делилось* и прежде 1015 года. 3) Если по внутреннему состоянию и внешним действиям России надобно означать периоды, то можно ли смешать в один время Великого Князя Димитрия Александровича и Донского, безмолвное рабство с победою и славою? 4) Век Самозванцев ознаменован более злосчастьем, нежели победою. Гораздо лучше, истиннее, скромнее История наша делится на *Древнейшую* от Рюрика до Иоанна III, на *Среднюю* от Иоанна до Петра, и *Новую* от Петра до Александра. Система Уделов была характером *первой* эпохи, Единовластие — *второй*, изменение гражданских обычаев — *третьей*. Впрочем, нет нужды ставить грани там, где места служат живым уроцищем.

С охотою и ревностию посвятив двенадцать лет, и лучшее время моей жизни, на сочинение сих осьми или девяти Томов, могу по слабости желать хвалы и бояться охудения; но смею сказать, что это для меня не главное. Одно славолубие не могло бы дать мне твердости постоянной, долговременной, необходимой в таком деле, если бы не находил я истинного удовольствия в самом труде и не имел надежды быть полезным, то есть сделать Российскую Историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей.

Благодаря всех, и живых и мертвых, коих ум, знания, таланты, искусство служили мне руководством, поручаю себя снисходительности добрых сограждан. Мы одно любим, одного желаем: любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия; да правила мудрого самодержавия и святой веры более и более укрепляют союз частей; да цветет Россия... по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!

Декабря 7, 1815.

ОБ ИСТОЧНИКАХ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ДО XVII ВЕКА

Сии источники суть:

I) *Летописи*. Нестор, инок Монастыря Киевопечерского, прозванный *отцом* Российской Истории, жил в XI веке: одаренный умом любопытным, слушал со вниманием изустные предания древности, народные исторические сказки; видел памятники, могилы Князей; беседовал с вельможами, старцами Киевскими, путешественниками, жителями иных областей Российских; читал Византийские Хроники, записки церковные и сделался *первым* Летописцем нашего отечества. *Второй*, именем Василий, жил также в конце XI столетия: употребленный Владимирским князем Давидом в переговорах с несчастным Васильком, описал нам великодушные последнего и другие современные деяния юго-западной России. Все иные летописцы остались для нас *безыменными*; можно только угадывать, где и когда они жили: например, один в Новгороде, Иерей, посвященный Епископом Нифонтом в 1144 году; другой во Владимире на Клязьме при Всеволоде Великом; третий в Киеве, современник Рюрика II; четвертый в Волынии около 1290 года; пятый тогда же во Пскове. К сожалению, они не сказывали всего, что бывает любопытно для потомства; но, к счастью, не вымышляли, и достовернейшие из Летописцев иноземных согласны с ними. — Сия почти непрерывная цепь Хроник идет до государственования Алексея Михайловича. Некоторые донны еще не изданы или напечатаны весьма неисправно. Я искал древнейших списков: самые лучшие Нестора и продолжателей его суть харатейные, *Пушкинский* и *Троицкий*, XIV и XV века. Достойны также замечания *Ипатьевский*, *Хлебниковский*, *Кенигсбергский*, *Ростовский*, *Воскресенский*, *Львовский*, *Архивский*. В каждом из них есть нечто особенное и действительно историческое, внесенное, как надобно думать, современниками, или по их запискам. *Никоновский* более всех искажен вставками бессмысленных переписчиков, но в XIV веке сообщает вероятные дополнительные известия о Тверском Княжении; далее уже сходствует с другими, уступая им однако ж в исправности, — например, *Архивскому*.

II) *Степенная Книга*, сочиненная в царствование Иоанна Грозного, по мысли и наставлению Митрополита Макария. Она есть выбор из летописей с некоторыми прибавлениями, более или менее достоверными, и названа сим именем для того, что в ней обозначены *степени* или поколения Государей.

III) Так называемые *Хронографы*, или Всеобщая История по Византийским летописям, со внесением и нашей, весьма краткой. Они любопытны с XVII века: тут уже много подробных *современных* известий, которых нет в летописях.

IV) *Жития Святых*, в Патерике, в Прологах, в Минеях, в особенных рукописях. Многие из сих Биографий сочинены в новейшие времена; некоторые однако ж, например, Св. Владимира, Бориса и Глеба, Феодосия, находятся в харатейных Прологах; а Патерик сочинен в XIII веке.

V) *Особенные деписания*: например, сказание о Довмонте Псковском, Александре Невском; современные записки Курбского и Палицына;

известия о Псковской осаде в 1581 году, о Митрополите Филиппе и проч.

VI) *Разряды*, или распределение Воевод и полков: начинаются со времен Иоанна III. Сии рукописные книги не редки.

VII) *Родословная Книга*: есть печатная; исправнейшая и полнейшая, писанная в 1660 году, хранится в Синодальной библиотеке.

VIII) *Письменные Каталоги Митрополитов и Епископов*. Сии два источника не весьма достоверны; надобно их сверять с летописями.

IX) *Послания Святителей к Князьям, Духовенству и мирянам*; важнейшее из оных есть Послание к Шемяке; но и в других находится много достопамятного.

X) *Древние монеты, медали, надписи, сказки, песни, пословицы*: источник скудный, однако ж не совсем бесполезный.

XI) *Грамоты*. Древнейшая из подлинных писана около 1125 года. Архивские Новгородские грамоты и *Душевные записи* Князей начинаются с XIII века; сей источник уже богат, но еще гораздо богачеший есть.

XII) Собрание так называемых *Статейных Списков*, или Посольских дел, и грамот в Архиве Иностранной Коллегии с XV века, когда и происшествия и способы для их описания дают Читателю право требовать уже большей удовлетворительности от Историка. — К сей нашей собственности присовокупляются.

XIII) *Иностранные современные летописи*: Византийские, Скандинавские, Немецкие, Венгерские, Польские, вместе с известиями путешественников.

XIV) *Государственные бумаги иностранных Архивов*: всего более пользовался я выписками из Кенигсбергского.

Вот материалы Истории и предмет Исторической Критики!

А. С. ПУШКИН

из статьи

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА,

сочинение Николая Полевого

<...> Приемлем смелость заметить г-ну Полевому, что он поступил по крайней мере неискусно, напав на «Историю государства Российского» в то самое время, как начинал печатать «Историю русского народа». Чем полнее, чем искреннее отдал бы он справедливость Карамзину, чем смиреннее отозвался бы он о самом себе, тем охотнее были бы все готовы приветствовать его появление на поприще, ознаменованном бессмертным трудом его предшественника. Он отдал бы от себя нарекания, правдоподобные, если не совсем справедливые. Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветренному невежеству, как некогда, по указу эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно.

Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Карамзиным. Где рассказ его неудовлетворителен, там недоставало ему источников: он их не заменял своевольными догадками. Нравственные его размышления, свою иноческую простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Он их употреблял, как краски, но не полагал в них никакой существенной важности. «Заметим, что сии апофегмы, — говорит он в предисловии, столь много критикованном и столь еще мало понятом, — бывают для основательных умов или полуистинами, или весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой цены в истории, где ищем действия и характеров». Не должно видеть в отдельных размышлениях насильственного направления повествования к какой-нибудь известной цели. Историк, добросовестно рассказав происшествие, выводит одно заключение, вы другое, г-н Полевой никакого: *вольному воля*, как говорили наши предки.

Г-н Полевой замечает, что 5-я глава XII тома была еще недописана Карамзиным, а начало ее, вместе с первыми четырьмя главами, было уже переписано и готово к печати, и делает вопрос: «*Когда же думал историк?*»

На сие ответствуем:

Когда первые труды Карамзина были с жадностию принимаемы публикою, им образуемою, когда лестный успех следовал за каждым новым произведением его гармонического пера, тогда уже думал он об истории России и мысленно обнимал свое будущее создание. Вероятно, что XII том не был им еще начат, а уже историк думал о той странице, на которой смерть застала последнюю его мысль... Г-н Полевой, немного подумав, конечно сам удивится своему легкомысленному вопросу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I		
ПЕРВЫЙ ИСТОРИК		25
1766—1803		27
Слава		33
Цена славы		34
Под черными облаками		36
У 1800-го		40
1802—1803		42
«Будущего зов»		45
Первые тома		49
«Старина всего любезнее»		58
Древняя и новая Россия		66
«Время летит, История моя ползет»		72
Перед войною		76
1812		77
Завтрашние читатели		79
«Своя полушка»		80
До 1560 года...		83
«Привратник бессмертия»		85
Аудиенция		87
Петербург		89
Перед новой славою		90
II		
ПРИМЕР ЕДИНСТВЕННЫЙ.		94
«Никто не в состоянии...»		101
Молодые якобинцы		104
Замечательная черта		111
Близ царя		112
«Ну, Грозный! Ну, Карамзин!»		119
После Грозного		127

Десятый и одиннадцатый	135
Осень жизни	136
Последний том	137
«Я, мирный историограф...»	138
Декабрь — май	141
III	
ГОЛОС ПОТОМСТВА	147
После	147
Суд потомства	149
«Карамзин решительно упал»	154
«Ничего не сказали или отделились...»	156
Заключение	157
Краткий список использованных материалов	161
Н. М. Карамзин. Из «Введения» к «Истории Государства Российского»	164
А. С. Пушкин. Из статьи «История русского народа, сочинение Николая Полевого»	171

Эйдельман Н. Я.
Последний летописец. — М.: Книга, 1983. —
176 с., ил.

Книга посвящена известному русскому писателю, историку и общественному деятелю Н. М. Карамзину и его главному труду — «Истории Государства Российского». Живо воссоздана эпоха Карамзина, его личность, истоки его труда, трудности и противоречия, друзья и враги, помощники и читатели. Показана многообразная борьба мнений вокруг его «Истории...», ее необычная роль для русского общества, новый интерес к ней в наши дни. Привлечены малоизвестные и новые архивные материалы.

Для книголюбов и широкого круга читателей.

4702010200-072

Э ————— 70-83

002(01)-83

84(2)7

Натан Яковлевич Эйдельман

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

ИБ № 703

Зав. редакцией Т. В. Громова

Редактор Э. Б. Кузьмина

Художник В. А. Корольков

Художественный редактор Н. Г. Пескова

Технический редактор И. А. Лукашова

Корректор Н. И. Балакирева

Сдано в набор 28.12.82. Подписано в печать 27.07.83. А-07876.
 Формат 84 × 108/32. Бум. офс. 75г. Гарнитура «Таймс».
 Печать офсетная. Усл.печ.л. 9,24. Усл.кр.-отт. 19,11. Уч.-
 изд.л. 12,98. Тираж 200 000 экз. Заказ № 3. Изд. № 2977.
 Цена 85 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.
 Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
 Государственном комитете СССР по делам издательств,
 полиграфии и книжной торговли
 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ИСТОРИ

ГОСУДАРСТВА РОССІ.

ТОМЪ I.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛ.



Издвненіемъ братьевъ Слени

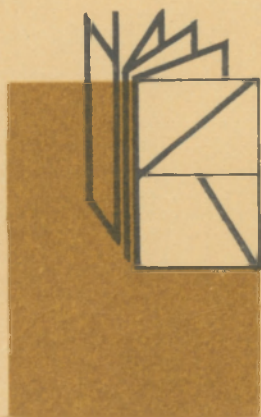
CH

1965

1965



85 коп.



Москва
„Книга“